

Алексей
СМИРНОВ



МАЙ
ОШ
КА



РОМАН

МОСКВА **новый** хронограф 2022



Алексей
СМИРНОВ



МАЙ ОШ КА



РОМАН

МОСКВА НОВЫЙ  ХРОНОГРАФ 2022

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2=411.2)6-49
С 506

Смирнов А. Е.

С 506 Майошка. Роман. – М. : Новый Хронограф, 2022. –
208 с.

ISBN 978-5-94881-526-8

Автор биографических романов «Козьма Прутков. Жизнеописание» (СПб.: Вита Нова, 2010; переиздание: М.: Молодая гвардия. Серия ЖЗЛ, 2011), «Иван Цветаев. История жизни» (СПб.: Вита Нова, 2013) представляет роман о Лермонтове, основанный на документальных источниках, но в отличие от указанных книг предполагающий беллетристическую составляющую: персонажи изображены в романе не только как исторические лица, но и как художественные образы.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2=411.2)6-49 С50

ISBN 978-5-94881-526-8

© Смирнов А. Е., автор, 2022
© Издательство «Новый Хронограф», 2022

*Посвящаю
Елене Сергеевне и
Евгению Алексеевичу
Смирновым*

ГЛАВА I¹

ВСПОМОЖЕНИЕ

Милая бабушка!

Припадаю к стопам Вашим с мольбой о прощении и прилагаю шитый бисером кошелек, — Ваш мне подарок, — вчера еще набитый туго-натуго присланным Вами вспоможением, а ныне выпотрошенный, похолодевший, пустой.

Бабушка!

Не подумайте, что я беспечно промотал всё свое содержание, положенное мне Вами на год, за одну беспутную ночь над гробовыми крышками зеленых картежных столов за компанию с такими же шалопаями и бездельниками в раззолоченных гусарских мундирах, как и я. Нет же, нет! Я только походил рассеянно вокруг столиков, остановился на минутку возле одного, поставил на кон сто рублей, тут же проиграл и тут же отдернул руку, как от огня, и бежал, бежал, едва лишь представил, какое огорчение мог бы доставить Вам мой крупный проигрыш, а не эта бумажная мелочь.

¹ Первоисточниками для нас послужили, главным образом, материалы к биографии М. Ю. Лермонтова, собранные в книге: *П. Е. Щеголев «Лермонтов. Воспоминания. Письма. Дневники...»* М.: Аграф, 1999, а так же мемуарный том «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников». М.: Художественная литература. 1989. Вместе с тем персонажи, изображенные в романе, фигурируют не только как исторические личности, но и как художественные образы.

Конечно, настоящие игроки вокруг рискуют большими капиталами, а ухари спускают тысячи на кутежи, но я — ни Боже мой! По мне ли срывать шальные куши или терпеть безвозвратные убытки? По мне ли тонуть в море бургундского или болтать о пустяках с женщинами, наезжающими к нам в Царское толпами из Петербурга? Бедные! Их нужда сюда загоняет, а нам и своих хватает. Но есть одно, чему я, увольте, противиться не могу. Вы знаете, что при первых же звуках полковой музыки я начинаю перебирать ногами, как жеребенок, родившийся в кавалерийской конюшне. Всё во мне играет, всё вибрирует в такт. А тут не тамбурмажор, не пузатые трубачи, как медными змеями, обвитые кольцами труб, — тут дыхание перехватывает!.. Вы не представляете, до чего я люблю цыган! Их привез из Москвы Илья Соколов. У него свой хор у Яра. И какие голоса?! Любаша... Стеша... Дуня... Груша... Вот где омут. Вот где безумные траты. И не только у молодежи. Нам еще простительно. Но с цыганами, да с хором да с семиструнными и старики пропадают. Глядишь, какой-нибудь почтенный господин лет пятидесяти, отец семейства, рачительный хозяин, а швыряет сотенные, как промокашки, как промокашки!.. Часто навещаюсь я к цыганам в Павловск послушать их песни — то вольные, то жалобные, увидеть их дикие пляски. У нас всё служба да служба: разводы, смотры, караулы; а у них всё свобода, свобода: кибитки, гитары, костры!.. Но и тут я головы не теряю. Содержание Ваше по мере сил берегу.

Не подумайте так же, что я оказал дружескую услугу более нуждающимся офицерам нашего полка, раздав им безвозмездные пожертвования без Вашего дозволения, чтобы прославиться своим великодушием за Ваш счет. До такой низости я еще не опустился.

Но менее всего подозревайте меня в легкомысленных связях и непомерных расходах на предметы моих симпатий. Любой офицер в полку подтвердит Вам, что мы с дядей моим Монго ведем самый скромный, самый добропорядочный

образ жизни. Вызовут ли нас в Зимний — почитаем за честь отстоять на часах в почетном карауле у Императорских покоев. Повелят ли возвращаться назад в казармы к месту постоянной дислокации — несем дежурство в Царском Селе. Прикажут ли ни свет ни заря явиться на смотр, устроенный великим князем Михаилом Павловичем, шефом гвардии — мы уже тут как тут. А ночью спим, как паиньки, по своим постелям... Нет, спим, как убитые, намаевшись за день на царской службе. Но Вы не беспокойтесь о моем здоровье. Мне же двадцать лет! Утром я снова свеж как огурчик.

Генерал-майор Хомутов Михаил Григорьевич, командир Гусарского полка — вот кто принял с благодарностью те шесть тысяч ассигнациями, которые Вы прислали мне для безбедного проживания. Принял в обмен на чистокровного английского жеребца тамошней породы — силача и красавца, превосходящего резвостью самых знаменитых рысаков русской гвардии. Теперь у Вашего внука — конь-птица, конь-стрела, который носит его между Петербургом и Царским быстрее, чем четверка добрых вороных — Михаила Павловича. На той неделе великий князь безуспешно гнался за мной от самого Питера, нещадно нахлестывая свою четверню. Поначалу ему казалось, что он меня догоняет, и он уже предвкушал, хотя бы умозрительно, как прикажет выпороть несчастного корнета за самовольную отлучку в Мариинский театр на балет. Но мой жеребец, милая бабушка, развеял эти чуждые грёзы, как дым! На полдороге до Царского боевая колесница великого князя стала отставать, безнадежно отставать... захромала на разбитые колеса... и едва ни съехала в кювет, пока мы с Монго не то что благополучно, а как триумфаторы древнего Рима, въезжали в Царское Село! У Алексиса конь хуже нашего, нет в нем такой стати и такой прыти, но и он оказался резвей княжеской квадриги.

Как я жалею, что Вы не можете увидеть мое приобретение! Постараюсь описать Вам его портрет хотя бы на словах.

Наш конь строен и высок. Миндалевидный глаз его не знает слезы. Сухой огонь трепещет в его зрачке, как смоляной факел на ветру! Масть его из самых благородных. Он — серый в яблоках. Не седой, как состарившийся в овраге туман, а светло-серый, повторяющий яблоками ажурный узор подкожных жилок... «Ну, что ж, — скажете Вы. — Бывают кони, и стройны́, и высоки́ и мастью отменны». Соглашусь трижды с Вами. Но где вы найдете красавца столь чуткого, столь нервного, что дрожит каждую трепетной жилкою; готового исполнить в любой миг предначертанный ему маневр, как бы перехватывая только что возникшую мысль седока, даже еще и не воплощенную в приказ? Встречались ли вам скакуны такой породы, что по резвости их дальновидные англичане запрещают им участвовать в скачках как бесспорным фаворитам уже на старте? Они обесмысливают любое соревнование, потому что тягаться с ними бесполезно. Они сводят на нет любой тотализатор, потому что каждый игрок знает заранее на какого рысака делать ставку и никогда не ошибется. Эта порода самых свободолобивых коней. Они признают только своего хозяина и не даются другим ездокам. Зато уж своему служат верой и правдой. Они бесценны, потому что опытный торговец просит не их стоимость, которой не существует, а сообразуется лишь с кошельком покупателя, вытряхивая его до последнего пенсика. Вот каков у нас конь, и вот какова сообразная ему кличка: Парадёр — Расплата. Теперь Вы представляете, что за диво мне подарили?

Только не волнуйтесь, пожалуйста, что мы с дядей без разрешения катаем в Петербург. Обычно испрашиваем. Но тут вышел особый случай. В тот же день Алексей узнал, что вечером в Мариинском театре — вне расписания — танцует его пассия и моя хорошая знакомая — госпожа Пименова. А он забронировал себе и мне ложу на весь сезон. Большие деньги заплатил. Ясно, что Алексей Аркадьевич, узнав про участие в спектакле Пименовой, всполошился, кинулся к начальству, начальство задерживалось по делам службы, и нам

ничего не оставалось, как седлать скакунов без разрешения. А на обратном пути нас и высмотрел Михаил Павлович, тоже прибывший на балет и обративший внимание на двух гусар, в поздний час поскакавших от театра к Царскому Селу. Его Высочество нашло этот факт подозрительным и, по видимому, задало себе три безответных вопроса. А на каком основании театралы покинули воинскую часть? А у них есть разрешение командира лейб-гвардии Гусарского полка генерал-майора Хомутова? Или это типичная самовольная отлучка, nepозволительная шалость? Тут и началась погоня.

На наше счастье, Михаил Павлович близорук, а носить очки стесняется. Наверное, думает: «Как это? Шеф гвардии и в очках...» Поэтому, чтобы установить наши личности, ему вначале следовало нас догнать. Но он, как Вы уже знаете, не догнал, а Хомутов по-отечески выписал нам разрешение на отлучку задним числом. Так что у нас всё в порядке. И волки сыты, и овцы целы.

Какая же хорошая фамилия для кавалериста: Хомутов! А тот английский конь, которого я купил у него, изрядный жеребец со шкурою, лоснящейся, как серый шелк, жеребец, прошедший выучку в королевской кавалерии, гарцевавший в караулах у Букингемского дворца под седлом капитана Викторианской гвардии, он, бабушка, сто́ит совсем не тех денег, какие мы за него уплатили, не шесть тысяч, а много-много дороже. Хомутов уступил мне его по-товарищески, как однополчанину, не желая причинять Вам непомерные издержки. То есть мы с Вами на этой покупке еще и сильно сэкономили!

Но теперь я испытываю некоторый недостаток в средствах. Жалованья на квартиру, еду и текущие мелочи хватает, а вот справиться новый мундир, форму уже затруднительно. Наряд прихотлив, а пошив нынче дорог. Ментик, доломан, кивер, чикчиры... Тем более сколько золота идет на отделку: золотые шнуры, золотые пуговицы — денег не напасешься. По Уставу я обязан менять обмундирование каждый год.

А к такому жеребцу, как мой, и шпоры хорошо бы вызолоченные... Зная Ваше ко мне отношение, я даже не испрашиваю никакой определенной суммы. Ясно, что та, которую Вы пришлете мне сами, превзойдет любое мое пожелание.

Генерал-майор Хомутов Михаил Григорьевич, когда узнал, что я пишу Вам письмо, велел кланяться с пожеланием доброго здоровья. Алексис по-родственному передает низкий поклон, а я, всё это время мысленно припадавший к Вашим стопам, встаю от оных и с почтением
целую Ваши ручки.

Внук Ваш Миша.

ГЛАВА II

МАЛЕНЬКИЙ ГУСАР

1

В Москве на Молчановке жили подруги — Катя Сушкова и Саша Верещагина. Саше исполнилось двадцать, Кате чуть меньше. Как девушки на выданье, они выезжали в свет и чувствовали себя вполне взрослыми дамами.

Там же на Молчановке некоторое время снимала дом и Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком Мишею. Елизавета Алексеевна принадлежала к древнему и знатному роду Столыпинах. Среди ее предков были генералы, сенаторы. Один из Столыпиных служил адъютантом у генералиссимуса Суворова. Арсеньева была богата, распорядительна, предана государю. Притом нрав имела независимый, мнения твердые. Хорошая командирша. Мишеньку — своего единственного наследника обожала страстно и ничего для него не жалела. Ее знали и ценили при Дворе. Когда достигла она преклонных лет, император Николай Павлович, справляясь о ней, обыкновенно спрашивал: «А как там наша бабушка?» И это по-семейному ласковое обращение немедленно подхватывалось приближенными так, что *нашей бабушкой* Елизавета Алексеевна становилась, и для военного министра графа Чернышева, и для шефа жандармов и тайной полиции графа Бенкендорфа, и для его начальника штаба

генерал-лейтенанта Дубельта и для неустанного строителя, потрошителя казны графа Клейнмихеля... Вопрос: «А как там наша бабушка?», — заданный на самой вершине административной лестницы, последовательно спускался по ступеням до самой Арсеньевой, и, пока внук ее подрастал, у бабушки всё было хорошо. Хотя на самом деле несчастий хватало. Но не докладывать же царю, что дочь (Мишенькина мама) умерла от чахотки, когда ее сыну исполнилось всего три годика; что Мишенькиного отца Юрия Петровича бабушка ненавидит и лишает свиданий с сыном, чем наносит своему горячо любимому внуку тяжелые душевные травмы, разрывает его между собой и отцом, которого он тоже любит. Или не рассказывать же, что у Мишеньки золотуха и, по-детски безотчетно спасаясь ото всех этих напастей, он уходит в себя, в свое дарованное ему природой воображение, и с ранних лет пытается выразить в слове беспокоящие его фантазии, заметы, чувства. Нет, всё это не предмет для ответа на высочайшее осведомление. И потому следует краткое резюме: «Бабушка — хорошо!» И такая жизнерадостная нота наполняет бодростью сердца хранителей трона, толпящихся у его подножия, опережая легко просчитанную ими реакцию самодержца: раз «Бабушка — хорошо!», значит, и с империей всё в порядке.

Ход времени не монотонен. Субъективно мы чувствуем, что разница в годах между людьми имеет свойство сокращаться по мере нашего взросления и вовсе исчезать на старости лет. Но в детстве, но в юности... Кате Сушковой — восемнадцать. Ее приглашают на балы, с ней танцуют кавалергарды и начальники департаментов, к ней сватается богач и красавец Алексей Лопухин. А тут вокруг нее нескладно топчется какой-то самолюбивый мальчик — большеголовый, малорослый, косолапенький... Ему всего шестнадцать, притом, что мальчики вообще развиваются позже девочек. Он — кузен Саши Верещагиной. Его зовут Мишель. А фамилия? Фамилии Катя и не знает.

Сашенька смеется:

— Катрин, в тебя влюблен Лермонтов!

— Какой Лермонтов? Первый раз слышу эту фамилию.

— Не притворяйся. Ты не знаешь Лермонтова?

— Право, нет. И в глаза никогда не видела.

— Мишель! — кричит Саша в соседнюю комнату. — Иди сюда, покажись.

Я познакомлю тебя с Катрин.

И входит Мишель, которого Катя имеет счастье лицезреть возле себя каждый божий день: большеголовый, малоро-слый, косолапенький...

— Извините. Я считала вас, по бабушке, Арсеньевым.

Мишель вспыхивает, как девушка, и убегает, чтобы снова возвратиться к этим насмешницам, которые принимают его за маленького — его, читающего им наизусть Пушкина и Байрона; его, готового рассуждать с ними о верности и страсти, о добре и зле, о поэзии — о великом! А подружки, хихикая, дарят ему веревочку, потешаясь над ним, над его серьезностью, которую они толкуют как что-то несуразное, противное возрасту того, кому по его летам надо было бы еще прыгать через скакалку. Мадемуазель Сушкова в виде одолжения соглашается пожаловать его должностью своего пажа, доверяя вместо шлейфа носить за ней ее шляпку, ее перчатки... А перчатки, снятые с ее ручек, он постоянно теряет; нет, не теряет, а крадет, да, крадет самым бессовестным образом, прельщенный запахом французских духов. Сашенька винит его в том, что он пристрастился именно красть перчатки некоторых петербургских модниц, не ведущих счет своим лайковым парам; вздыхать по ним, — да не по перчаткам, а по модницам! — а перчатки вдыхать: их тонкую кожу, их слабо уловимый аромат... Однако эти терпящие убыток модницы даже не удосуживаются узнавать фамилии своих пажей и полагают, что он — Арсеньев, как его бабушка. Какое легкомыслие!

А еще Сашенька любит пошутить над кузенком за трапезой, на которую его по-родственному всегда приглашают,

и m-He Сушкова с удовольствием составляет компанию подружке по части шуток. Девушки утверждают, например, что Мишель никогда не интересуется тем, что ему подают: телятину или ягненка, дичь или рыбу. Он ест всё подряд, машинально, без разбора, думая о чем-то своем. Высказано предположение, что если ему положить в тарелку жареный булыжник, то он, как Сатурн, вгрызется и в булыжник и будет упрекать повара в том, что блюдо слишком жестко, потому что пережарено. Мишель выходит из терпения, сердится, негодует. А кухня обещает ему самое верное испытание его утонченного вкуса как дегустатора и гастронома. Повару втайне от гостя велено испечь к чаю румяных булочек со свежими, пышными, как пух, сосновыми опилками. После верховой прогулки Мишель накидывается на булочки, совершенно игнорируя начинку. Девушки хватают его за руки, хохочут, возвращают с небес на землю, доказывая, что булочки не с капустой, не с яблоками или маком, а с о-пил-ка-ми, то есть есть их нельзя. Мишель страшно обижается и пропадает на несколько дней, а появившись вновь, требует у Катрин, чтобы отныне та звала его по имени-отчеству: Михаил Юрьевич.

2

О, как стыдно впервые читать свои стихи вслух не себе, а другим!

Даже пригасив свечи. Даже закрыв глаза.

Стыдно не потому, что стихи предосудительны, а потому, что не совершенны. Их искренность, не огражденная броней мастерства, делает их беззащитными перед лицом начитанных слушателей, искушенных в колющем острословии. Ты и сам был таким же, пресыщенный чужим умом, избалованный чужим талантом, когда созданное вне тебя преподносилось тебе в готовом виде — на блюдечке с голубой каемочкой, а ты судил его едко и строго. И вот теперь судят осуждавшего. И — кто? Не маститые стихотворцы, не почтенные критики за литературным обедом, а две девицы, подложившие тебе

к чаю булочки с опилками! Грядет возмездие за собственную взыскательность по отношению к другим. Настает расплата за упоение своими неловкими экзерсисами. Ты начинаешь догадываться, что нет таких стихов, которые нельзя было бы привлечь к ответу по статьям какого-либо из кодексов: лексического, стилевого, музыкального, кодекса чести. Уголовного, наконец! Неподсудна рутина. А всё вновь творимое нарушает ту или иную статью, потому что все статьи рассчитаны на старое, а не на новое. Оно вызывает подозрение и требует дознания прежде, чем быть преданным казни или снисходительно помилованным, но последнее не в традициях нашего правосудия. Обвиняемый практически безоружен, а суд вооружен до зубов. Колчан обвинителя-резонера набит стрелами. Лук его гибок. Упруга тетива. А ты беспомощен, как святой Себастьян, привязанный к позорному столбу. Перед тобой толпа язычников. Их жены и дети. Они беснуются. Настал их час глумиться над тобой, танцевать на твоих костях. В толпе мелькнуло насмешливое лицо кузины Александры и счастливое — ее заветной подруги. Мадемуазель Сушкова, неужели и вы?! Как могли вы и кузина, две милосердные христианки, смешаться с жестокой толпой иноверцев? Катрин! Я взываю прежде всего к вам. Неужели ни капли сострадания не осталось в вашем добром сердце? Неужели вы не в силах остановить судилище? Александра! Острые пластины льда настолько прослоили ваш нежный разум, что он способен лишь колоть, беспощадно иронизируя над лучшими строками подсудимого! И если он пишет:

Вблизи тебя до этих пор
Я не слышал в груди огня, —

вы немедленно переспрашиваете:

— *Не слышал огня?.. А как его услышать, если он в груди?*

— Встречал ли твой волшебный взор —

— Ну, конечно. Если *взор*, то *волшебный*. Это уж непременно, это уж так положено, так заведено.

Не билось сердце у меня.
И пламень звездочных очей...

— Ах, да неужели *звездочных*? Почему же все-таки не *звездных*? Потому что размер требует трехсложного слова, а если его нет, то мы его придумаем?

К чему ж разлуки первый звук
Меня заставил трепетать?..

— Интересно, что это за *звук* такой, повергающий в трепет?

Однако же хоть день, хоть час
Желал бы дольше здесь пробыть,
Чтоб блеском ваших чудных глаз
Тревогу мыслей усмирить.

— Оказывается, *блеск чудных глаз* не волнует, а наоборот успокаивает.

Оказывается, от интимного обращения первой строки — *Вблизи тебя...* автор в предпоследней готов перейти к более строгому соблюдению дистанции, связанному с блеском уже не *твоих*, а *ваших* чудных глаз.

Катрин умоляет Сашеньку «не трунить над отроком». Катрин жалко Мишеля, ведь он от души посвятил эти стихи ей. А Сашеньке чего жалеть кузена? Она в стороне. Он для нее — завидная мишень.

Катрин советует начинающему стихотворцу не торопиться, обдумывать и отрабатывать каждое слово, чтобы та, которую он воспоеет, могла им гордиться.

— А вы будете гордиться?

— Со временем. Когда из вас выйдет поэт.
 — А разве теперь вы не гордитесь моими стихами?
 — Конечно, нет! Это же еще лепет младенца.
 — Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас более ничего, как ребенок. А ведь это вы любовью вашей к поэзии внушили мне желание писать стихи, посвящать их вам, обратить на себя ваше внимание... А теперь вы надо мной смеетесь. По вашему тону я вижу, что стихи мои глупы, нелепы, так переделайте же их сами, не на словах, а на деле...

Вот последний аргумент, который автор может предъявить критику: сделайте сами, покажите как надо. Но этот аргумент не состоятелен. Как надо, критик не знает. Он видит, как не надо. А показывать и делать предоставляет самому автору.

Желая сменить щекотливую тему, Катя обращается к Мишиной бабушке:

— Елизавета Алексеевна, а какую карьеру вы изберете для Михаила Юрьевича?

— А какую он хочет, матушка, какую пожелает... Лишь бы не был военным. У нас в роду уже столько военных перебывало... Хватит.

3

Человек предполагает, а Бог располагает.

Человек строит планы, а жизнь распоряжается ими по своему усмотрению.

И бывает так, что происходит именно то, чего боишься.

Бабушка ни в чем не стесняла Мишеньку: выбирай себе любое дело, кроме военного. И не сказать, что внук выказал непослушание, вовсе нет. Мнением бабушки он дорожил, в Московский университет поступил. Но Бог предпочел иное расположение, но жизнь распорядилась, и вместо Университета был Михаил Юрьевич выпущен из Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в Царском Селе

под Петербургом. Бабушка и тут не оставила внука своим попечением. Из родовых Тархан она переехала на зиму в столицу и поселилась вместе с Мишей. Казарма казармой, однако домой к бабушке его отпускали часто, за этим дело не стало. А когда не отпускали, но очень хотелось, то всё равно отпускали. Офицеры богатых и знатных фамилий, столбовые дворяне пользовались большими привилегиями и снисходительностью командиров. Их имена, овеянные ратной славой предков, предавали гвардии победоносный блеск. Но Миша тем охотней стремился в город, что дежурства и учения вовсе его не прельщали. Прельщали кутежи, воинское братство, шалости, розыгрыши, гусарская бравада, и всё это на разудалых тройках кочевало туда и обратно по маршруту Царское Село — Петербург. Сельские пиры превращались в городские — городские возвращались «на Село».

Зимой, отгребаясь от снега широкими лопатами крепких дворников, скрашивая короткие, темные дни, столица веселилась, как могла. Шумела гуляньями, искрила фейерверками, сверкала балами. Русский Императорский Двор приобрел славу самого пышного Двора Европы. Государь лично участвовал в балах, посещал маскарады. Именно там случались непреднамеренные или рассчитанные знакомства между его верноподданными, плелись любовные сети, затевались и рушились брачные союзы, возобновлялись утраченные связи, оживали былые симпатии.

На одном из танцевальных вечеров Мишель встретился с Катей Сушковой. Они не виделись четыре года. Катрин оставалась мадемуазелью, хотя ее брак с Алексеем Александровичем Лопухиным казался делом решенным. Во всяком случае так оно рисовалось Лопухину, так он представлял его Мишелю, которого считал своим другом. Друг был в курсе всех деталей предстоящего союза сердец. Для сироты Сушковой, жившей в доме тётки, партия с Лопухиным выглядела блестящей. Доброта Алексея не вызывала сомнений. Смущали недостаток ума и напрасная доверчивость (которая

выражалась, между прочим, в излишнем уповании на порядочность друзей). Тем не менее Катя склонялась к положительному ответу. Но мстительный Мишель не простил ей прежние обиды, муки своего уязвленного самолюбия. Он затеял собственную игру, готовый не пощадить и Лопухина, который вообще был не при чем (но «при ком» — на беду свою, при Сушковой). Теперь Лермонтову исполнилось двадцать. Он был произведен в офицеры. Его стройнил красный гусарский мундир, прошитый рядами золотых шнуров, облегавший, как перчатка, как те перчатки, которые верный паж носил когда-то за своей госпожой, почитая за счастье надевать их на ее ручки, но гусарская «перчатка» обтягивала не дамские пальчики, а плотную мужскую фигуру. К поясу корнета крепилась длинная сабля. Он почувствовал себя вполне вооруженным, чтобы начать интригу не в туманных грезах, а наяву. Отроческий роман получал взрослое продолжение и подхватить его надлежало на самой высокой, романтической ноте. Скажем, на концерте Михаила Лукьяновича Яковлева — товарища Пушкина по Лицею, известного композитора и певца.

Яковлев пел в музыкальном антракте между мазуркой и ужином. В тот вечер, среди прочих, он исполнил новый романс Алябьева на стихи Александра Сергеевича, тоже написанные совсем недавно.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем...

Склонившись к Сушковой, Мишель прошептал ей на ушко:

— Вот чувство, которое я переживаю в эту минуту.
Яковлев продолжал словами Пушкина:

Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

А Лермонтов продолжал своими словами:

— Ну, уж нет... Пускай тревожит, тревожит, это — вернейшее средство не быть забыту. Если любовь к женщине безответна или подвергается насмешкам, тогда такое рыцарство неуместно, смешно, и строптивицу надо наказывать, вместо того чтобы радеть об ее беспечальности.

Певец перешел ко второй строфе.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;

Корнет пожал плечами, украшенными новенькими эполетами:

— Не понимаю робости и безмолвия, а безнадежность предоставляю женщинам.

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

С этим Михаил Юрьевич не согласился категорически.

— Здесь надо переменить совсем. Естественно ли заботиться о счастье любимой женщины с другим? Пусть уж лучше она будет несчастлива. Я так разумею любовь, что, если бы женщина была несчастлива через меня, это бы связало ее навек со мною. А желать любви сопернику — какое-то самоистязание. Впрочем, такие слабые натуры, как Лопухин, чего доброго, и пожелали бы счастья своим предметам! А я не понимаю, как это возможно — желать счастья другому ценой собственного несчастья?..

Теперь уже не выдержала Катрин. Теперь ей захотелось склониться к Лермонтову и прошептать на его ушко:

— Но если она любит не вас, а другого, то вы, отпуская ее, жертвуете не другому, а ей... Разве это смешно?

Признайтесь, Мишель: вы просто завидуете Пушкину.

Вовсе не желая расставаться с доверительной близостью к m-лле Сушковой, Мишель ответил ей по-прежнему на ушко,

но уже вполголоса, поскольку романс отзвучал и аплодисменты стихли.

— Еще бы... Я сам хотел бы написать такое стихотворение, несколько его изменив. Но куда больше я завидую Баратынскому. Тот опубликовал пьесу, которая нравится мне больше пушкинской. Она как будто про меня, каким я был прежде и остаюсь поныне, а ведь более всего нам нравится именно то, что про нас, не правда ли? Хотите прочту? Слушайте.

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

— Вам нечего, Михаил Юрьевич, завидовать этим стихам. Вы еще лучше выразились в том же духе:

Так храм оставленный — всё храм,
Кумир поверженный — всё Бог!

— Вы это помните?! Вы сохранили мой автограф? Отдайте мне его. Я забыл начало, а копии у меня нет. Я копий со своих стихов не снимаю. Или имею рукопись, или держу в памяти или хранится у кого-то, кому дарил. Отдайте! Я переделаю. Они станут еще лучше, и я посвящу их вам.

— Ни за что не отдам! Я предпочитаю их такими, какие они есть.

— Но почему?

— Пусть они не полны, зато в них — правда чувства.

— А я ее дополню. Может быть, слегка переделаю.

— И они утратят свою неподдельность.

- Но они станут лучше!
- А мне не надо — «лучше»! Мне нужно то, что есть.

4

Нам повезло: мы имеем возможность проследить всё дальнейшее течение этого романа, взглянув на него глазами обоих участников — Екатерины Александровны Сушковой и Михаила Юрьевича Лермонтова. Свою версию событий m-lle Сушкова изложила в опубликованных «Записках».

Смятение Катрин

За минувшие четыре года, пока они не встречались, Мишель в глазах Сушковой почти не изменился. Медвежонок не подрос ни на дюйм, сохранил в неприкосновенности прежнюю неуклюжесть, походка его оставалась все такой же тяжело-ватой, а рыкающий говор быстр и напорист. Правда, он несколько возмужал и когда долго смотрел на вас, точно вперял неподвижный взор, трудно было не смутиться.

Корнет немедленно похвастался только что полученными эполетами и напомнил, что в студенческой тужурке не имел бы ни малейших шансов на кадриль или мазурку с мадемуазель. Это замечание показалось Катрин жестоким.

— Вы — как злопамятный ребенок... Теперь я пошла бы танцевать с вами и без ваших эполет.

— И тому причиной — любовь?

— Скорее равнодушие. Я сильно переменялась.

— Равнодушие? Полагаю, к окружающим, но не к отсутствующим, — предположил Мишель, имея в виду под «отсутствующими» Лопухина. — Как звучно было бы зваться Madame de Lopoukhine!

Из разговора Катя поняла, что Лермонтов знает об ее отношениях с Лопухиным из уст самого Алексея. Это ее возмутило. Они же договорились не предавать своих чувств огласке, и она строго соблюдала договор, а Лопухин всё

выболтал. Воспользовавшись этим, Мишель повел атаку на своего приятеля-неприятеля. Особенность ситуации состояла в том, что фоном интриги против Екатерины (а попутно и Алексея) служило несравненно более глубокое чувство, которое Мишель испытывал к родной сестре Алексея Александровича — Вареньке Лопухиной. Но это влюбчивого каверзника не остановило. Вначале он пораспространялся Кате о чудесной доброте ее жениха, а потом сосредоточился на его глупости и богатстве. Особенно богатством избранника пытался он уязвить Катрин, намекая на то, что она выходит за Лопухина не по любви, а по расчету. Для романтически настроенной девушки того времени и той среды это звучало сильным оскорблением. Глупостям жениха разлучник противопоставлял свой ум; богатству — гордую бедность, что применительно к единственному наследнику состоятельной пензенской помещицы выглядело по меньшей мере забавно. Михаил Юрьевич фарисействовал, прибеднялся и одновременно клялся в любви — любви бедняка, играя на чувствах мадемуазель, взывая к ее женской жалости. При каждой новой встрече он порочил жениха в глазах невесты, утверждал себя, имитировал страсть и добился того, что чаша весов в душе Сушковой стала клониться в сторону маленького гусара. А когда он окончательно завладел ее смятенным сердцем, превратил в рабу, готовую стать перед ним на колени, ум его, изощренный в неожиданных поворотах, сделал новый вираж. Мишель изменил тактику на противоположную и принялся выставлять в дурном свете себя, а в самом выгодном — Алексея. Он заговорил о том, какой он, Лермонтов, не привлекательный внешне, тогда как Лопухин — всеми признанный красавец; какие приступы ярости по временам охватывают его, Лермонтова, тогда как Алексей Александрович уравновешен и добр; как *Madam de Lerma* будет прозябать в постоянной нужде, а вместо этого *Madame de Lorooukhine* могла бы купаться в удовольствиях, кутаться в меха, быть осыпанной

бриллиантовыми брызгами с головы до пят. Лицемерный змееныш, он жалил Катрин тем, что благовоспитанной девушке не к лицу изменять жениху с его же приятелем, и что свет ей такого никогда не простит. При этом, дразня Катрин, Михаил Юрьевич снова и снова признавался ей в любви, оговариваясь, что ничего, кроме любви, предложить ей не может, и вопрошал:

— Неужели одна моя любовь способна всё перевесить в вашем сердце?

— Решительно всё, — отвечала она.

— Но у меня дурной характер, — продолжал он свой наиправдивейший самооговор, словно испытывая ее чувство на прочность, перегибая его туда-сюда, как медный эполет. О, вы еще не знаете, насколько я вспыльчив, зол, ревнив! Я служу. Это мой долг. Смотры, казармы, учения. Мы будем видеться лишь время от времени. Урывками. Я пишу. Возможно, это мое призвание. И тогда вы станете страдать от того, что, по видимости присутствуя возле вас, на самом деле я полностью погружен в себя, живу воображением, не замечаю вас и потому вовсе для вас не существую. Да вы всю жизнь проведете взаперти с моей бабушкой!..

— Мы будем с ней говорить о вас, ожидать вашего возвращения, нам вместе будет даже весело. Моя любовь поймет и оценит ее старческую привязанность к вам и, видя это, ваша бабушка примет меня в свое сердце.

Пауза.

Мишель растроган. Он жмет руку Екатерине Александровне, он признается, что никогда в жизни не был так счастлив, потому что никогда не был так любим.

Однако антракт окончен, и целеустремленный лицедей, как будто на бис, повторяет увлекший его текст, построенный на эффектных контрастах: «Лопухин добр — я зол. Он богат — я беден. Он красив — я нет. Но если не я сам, а вы станете сравнивать меня с ним, я не прошу вам таких сравнений».

Сушкова в отчаянии.

— Зачем вы мучаете меня? Зачем уговариваете поступить против моего сердца? С Лопухиным для меня всё кончено. Я вас люблю, вас! Вы вдохнули в меня любовь. Никто не может сравниться с вами. Но зачем вы мучаете меня?!

И тогда маленький гусар — заложник собственной браводы — делает последний выпад.

Прикинувшись доброжелателем, неким «другом NN», он посылает Екатерине Александровне по городской почте фальшивое письмо-донос. Ложен или правдив этот самоговор в данном случае значения не имеет. Имеет значение результат, и «доброжелатель» его добивается.

Письмо гласит, что Лермонтов — отвратительный субъект, губящий всё, к чему прикоснется. Он обладает демонической властью влюблять в себя, а сам никого не любит. Его страсть — не щадить людей, господствовать над ними. Самолюбие его безмерно. Он не заслуживает ничего, кроме презрения. Поверьте, мадемуазель, он представит дело так, что не может жениться на вас только оттого, что бабушка против и не дает согласия на брак, а ее слово решающее. И в конце концов он еще прочтет вам длинную проповедь, как безгрешный моралист, по поводу того, что он не желает обманывать своего лучшего друга, расстраивая вашу свадьбу с ним — вы всё сделаете сами. А напоследок признаётся, что весь этот роман для него, Михаила Юрьевича, простая потеха, которая славно его повеселила от начала до точки.

* * *

Не одна Сушкова испытала на себе проникающий лермонтовский взгляд. Хочется думать, что, осознавая его силу, Михаил Юрьевич применяет это оружие лишь при острой необходимости, а в остальных случаях просто отводит глаза.

Почему напоминание о тужурке студента показалось Кате жестоким? Она уловила в нем намек на то, что для нее форма дороже сути, и ярко расшитый парадный доломан затмевает

не только серую студенческую тужурку, но и самого студента, который мог оказаться куда интересней гусара как личность.

Поначалу Катя ведет диалог с Мишелем на равных. Из колеи выбивает ее беспечность Лопухина, разболтавшего Лермонтову их тайны. Делая свою фамилию (производную от лопуха) говорящей, Алексей Александрович по недомыслию и тщеславию нарушил договор о неразглашении, раскрыл сопернику карты, общие с Катрин, и оба они, ничего не подозревая о намерениях Мишеля, повели игру с шулером, владевшим всеми компонентами и всеми обстоятельствами игры. Мишель попирал перед Катей простофилю Лопухина, клянясь ей в своей верности. Но при этом держал в уме, что его цель — расстроить их свадьбу не во имя своей, а для того только, чтобы насмеяться над одним и отомстить другой, вовсе не связывая с ней собственные жизненные планы. Это было чистое зло, зло как таковое, лишенное всяких материальных выгод, беспримесное, не замутненное никакими меркантильными соображениями.

Убедившись в том, что душа Катрин сметена и в его руках, разлучник начинает уничтожать себя, находя достоинства в Алексее, то есть продолжает свою издевательскую затею. При этом, компрометируя собственную персону, он, сделавшийся для Кати уже чуть ли ни чудотворным ликом, мироточит и мироточит красноречивые признания в любви.

Лопухин сперва посрамлен, а потом, когда это не имеет уже никакого значения, восстановлен в правах.

Екатерина Александровна доведена до отчаяния: брак с Лопухиным невозможен из-за ее измены, а брак с Лермонтовым скорее всего окажется невозможен из-за «бабушки», то есть из-за Лермонтова в роли бабушки, якобы запретившей внуку, то есть себе, этот брак «по любви».

Обманутая Катрин еще на что-то надеется, когда маленький гусар предпринимает шаг, призванный окончательно запятнать (а в его глазах защитить) честь своего мундира: он отправляет подметное письмо на имя Сушковой.

«...Вы и теперь уже много потеряли во мнении света оттого, что не умеете и даже не хотите скрывать своей страсти к *нему*.

Поверьте, *он* недостоин вас. Для *него* нет ничего святого, *он* никого не любит. *Его* господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия...»

В итоге: Лопухин опорочен и оправдан. Лермонтов вознесен и сброшен в преисподнюю. Сушкова представлена главной виновницей всего происшедшего и опозорена в глазах света. Ее брак с Лопухиным сорван, а Лермонтов жениться на ней и не думал.

Любовная драма объявлена потехой. В последней сцене автор разыгранной им пьесы раскрывает истинное название жанра: балаган.

5

Но помимо m-lle Сушковой есть и вторая сторона. Свой взгляд на происшедшее Мишель выразил в письме 1835-го года из Петербурга в Москву к Сашеньке Верещагиной — некогда свидетельнице его полудетской страсти. Вслед за выразительными прелиминарными приведем относящийся к делу фрагмент.

Расчет Мишеля

«Милая кузина!

Я решил уплатить вам долг, который вы не соблаговолили с меня требовать, и надеюсь, что мое великодушие тронет ваше сердце, с некоторых пор ставшее таким жестким ко мне. Я не прошу другого вознаграждения, кроме нескольких капель чернил и двух или трех штрихов пера, которые известили бы меня, что я еще не совершенно изгнан из вашей памяти; иначе мне придется искать утешения у других (ибо и здесь у меня есть кузины), а как бы мало женщина

ни любила (это известно), она не очень-то любит, чтобы искали утешения вдали от нее. Затем, если вы будете еще упорствовать в своем молчании, я могу вскоре прибыть в Москву — и тогда мое мщение не будет иметь границ. На войне (вы знаете) щадят сдавшийся гарнизон, но город, взятый приступом, без сожаления предают ярости победителей.

После этой гусарской бравады я падаю к вашим ногам, чтобы вымолить себе прощение, в ожидании, что вы мне его даруете.

После этого вступления я начинаю рассказ о том, что со мною случилось за это время, как это делают при свидании после долгой разлуки.

Алексис (А. А. Лопухин. — А. С.) мог рассказать вам кое-что о моем образе жизни, но ничего интересного, разве что о начале моих приключений с m-lle Сушковой, конец которых несравненно интереснее и забавнее.

Если я начал ухаживать за нею, то это не было отблеском прошлого — вначале это было для меня просто развлечение, а затем, когда мы поняли друг друга, стало расчетом: и вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, покровительство... я увидел, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Я понял, что m-lle С., желая *изловить* меня (технический термин), легко скомпрометирует себя ради меня; потому я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя: я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что еще один шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда); когда она стала замечать это

и пыталась сбросить ярмо, я в обществе первый покинул ее, я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) выгодную для меня сторону этой истории. Она так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась ее друзьям (или врагам) уязвленную любовью. Затем она попыталась вновь вернуть меня напускною печалью, рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня, — я не вернулся к ней, а искусно всем этим воспользовался. Не могу сказать вам, как всё это пригодилось мне, — это было бы слишком долго и касается людей, которых вы не знаете. Но вот смешная сторона истории: когда я увидел, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ — я написал анонимное письмо: «M-lle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный и т. д... предупреждаю вас, берегитесь этого молодого человека: М. Л. Он вас соблазнит и т. д... вот доказательства (разный вздор) и т. д...» Письмо на четырех страницах! Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки; в доме гром и молния. На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть принятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей это; она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения — я всё отношу насчет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мною, — я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетки. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы причиняем другой женщине (афоризмы Ларошфуко). Теперь я не пишу романов — я их делаю».



Притом, что свидетельства Сушковой и Лермонтова принадлежат двум враждующим сторонам любовной борьбы и, казалось, должны были бы опровергать друг друга, выставлять в самом выгодном свете себя и чернить своего визави, тем не менее они странным образом совпадают, никак не противоречат одно другому, описывают одинаково одни и те же события. Так происходит оттого, что Катя изливает свою женскую душу со всей чистосердечной прямоотой страдальцы, а Мишель — свою мужскую со всей циничной откровенностью мучителя.

Совпадает внешняя канва: обольщение Катрин, тень на Лопухина, свет на себя. Резкий разворот. Свет на Лопухина, очернение себя. Письменная фальшивка от лица неведомого Катиного «друга NN», завершающая гвардейские мудрствования над Сушковой.

Совпадает откровенность в излиянии чувств: Мишель столь же откровенен в письме к Верещагиной, сколь Екатерина Александровна в своих «Записках».

Разница в чувственной подоплёке самой откровенности. Правда Сушковой в том, что она *любит* Лермонтова. Правда Лермонтова в том, что он *издевается* над Сушковой. Обе правды выражены без утайки. Женская — с горечью подло обманутого сердца, мужская — со злорадством успешно разыгравшего свою партию ума. Катя еще не понимает, что нельзя быть женою демона. У демона жен не бывает. У демона бывают жертвы. Мишель давно догадывается о своей демонической природе, о том, что семейный круг не его судьба и, пользуясь случаем, забавляется, играя струнами живой, доверившейся ему души. То, что для Кати жизненная драма, для Михаила Юрьевича «трогательное приключение» (а на самом деле — жестокий балаган), которое (иронизирует он) даст кухне Сашеньке «весьма лестное мнение» о любезном кузене. При этом литературно образованный брат не упускает случая сослаться на иноязычную афористику,

и совершенно в ее духе заключить письмо собственным афоризмом: «Теперь я не пишу романов — я их делаю».

Критик, который не знает, как надо, но видит, как не надо, мог бы выразить сомнение: фактически автор стирает границу между жизнью и творчеством. По автору всё написанное допустимо переносить в жизнь, а любыми личными хитросплетениями, взятыми прямо из жизни и даже нарочито, с дальним прицелом сплетенными, насыщать страницы романа. Ему, сочинителю, по-видимому, не важно, что искусство, подвергшееся такой циничной экспансии, теряет свою пленительную условность, облагораживающее начало. Меркнет луч волшебного фонаря. Тьма бытия, пройдя через авторское сознание, не превращается в свет, а становится еще более густой и вязкой тьмою демона, глумящегося над любовью и страданиями людей.

Да, по-видимому, это ему не важно.

А по *не* видимому?..

ГЛАВА III

МОНГО

1

Вместе с Мишелем в Гусарском полку служил его двоюродный дядя Алексей Аркадьевич Столыпин. Дядя был двумя годами младше племянника и не уступал тому в проказах. Порой инициатива принадлежала именно дяде, а племянник по-родственному и по-дружески ее подхватывал.

Дежурства, караулы, учения и смотры составляли предмет царской службы, а дамы, карты и пиры украшали досуг славных воинов. С тех пор, как на сцене Мариинского театра дебютировала госпожа Пименова, изюминкой гусарского досуга сделался балет. Дядя с племянником стали театрами не ради балета, а ради балерины. Она нравилась, и тому и другому, но шансы дяди на ответное чувство были много выше. Люди со вкусом рисовали Алексея Аркадьевича писанным красавцем. Рослый и стройный, с густыми висячими усами и отличной офицерской выправкой, он равно элегантно смотрелся, и в синем фраке, небрежно бросающий цилиндр и белые перчатки на подзеркальник венецианского зеркала с потемневшей от времени амальгамой, и в гусарском доломане, расшитом витой гарусной шнуровкой. Его добродушие помогало ему избегать зависти товарищей, а моральный авторитет был упрочен врожденным аристократизмом.

Не то племянник.

Мишель не мог пленять красавиц своими обидно малыми для воина ста семьюдесятью сантиметрами роста, сутуловатостью, не больно стройными ногами, которыми заметно косолапил. Говорили, что в манеже, в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров он дразнил строптивую лошадь и до того додразнился, что та лягнула его в ногу так, что лейб-медик Аренд Николай Федорович лечил его в лазарете, а потом бабушка Елизавета Алексеевна два месяца выхаживала дома, и все равно кость срослась неправильно. По другой версии старослужащие из потехи дали новичку объезжать необъезженную лошадь, которая скинула и потоптала седока.

Добрый (временами) сердцем Мишель отличался не по годам развитым умом и той неумолимой иронией, которую его современники часто считали недопустимо едкой. Находчивая язвительность составляла одну из граней его характера и отличительную черту таланта, крайне изобретательного и весьма изобразительного. Ради красного словца он готов был не пожалеть и двоюродного дядю, утверждая, что тот сидит в седле, как крючок; что лошадь под ним не пляшет, а переминается с ноги на ногу, как будто вечно хочет мочиться; что храбр он возможно и будет на поле боя, но дома вздрагивает, если от ветра хлопнет форточка; а через заборы пригожих прихожанок служивый не перемахивает, а переваливается, как куль. Иногда в племянника вселялся сущий бес, так что он становился вовсе неуправляемым, шалым. То всему противоречил, то заезживал одну и ту же острóту, а то наоборот подавлял окружающих разнообразием своих экспромтов, в том числе стихотворных, потешал анекдотами, вlepлял клички, дурачился, куролесил. Правда, когда бесенок не искрил в его глазах, они могли наполниться вдруг невыразимой печалью, что нравилось романтическим созданиям, если они случались возле, но никак не склоняло на его сторону

людей степенных, трезвомыслящих. Одним словом, в истории, о которой пойдет речь, Мишель играл роль сугубо вспомогательную, а на первый план выдвинулся дядя Алексей Аркадьевич.

Летом, когда сезон в Мариинском театре завершился и балерины получили отпуск, а госпожа Пименова поселилась на даче неподалёку от своих поклонников лейб-гусар, Столыпин загорелся желанием ее навестить, подговорив племянника составить ему компанию. Дела службы всё никак их не отпускали, а лето увядало, увядало... Наконец, 30 августа 1834 года ввечеру два всадника тайно выехали из расположения полка и, стараясь не топтать копытами, поскакали по петергофской дороге. Если один из них жаждал долгожданного свидания, то другого, увы, подвигало лишь унылое чувство долга. Неловкость перед бабушкой не позволяла Мишелю даже в мыслях разделить с дядей и «тётей» их пиршественное ложе.

Два столбовых дворянина, — а Мишель настаивал на том, что по отцу ведет свою родословную от испанского герцога Лерма, — летели на закате лихим наметом по столбовой дороге между Петергофом и Петербургом без разрешения командира Гусарского полка Михаила Григорьевича Хомутова и без приглашения примы-балерины Мариинского театра Екатерины Егоровны Пименовой; как они могли бы топографически обозначить: из пункта *Ху* в пункт *Пи*.

Дядя то нетерпеливо горячил, то притормаживал караковую кобылу; племянник прищипоривал Савраску — шустрого скакунка светлогнедой масти, отдающей в желтизну. Если на парадный выезд в Мариинку Мишель седлал отливавшего сытым блеском английского жеребца — бесподобного Парадёра, купленного по случаю за шесть бабушкиных тысяч, то на пригородное дядино рандеву он решил обойтись отпрыском башкирских степей, в надежде на то, что хотя бы здесь великий князь Михаил Павлович их не подкараулит. Не может же он отслеживать подшефных повсюду: и на

учениях, и на выходе из театра и по дачам у прим-балерин. Даже младший брат императора не в силах контролировать одновременно всё свое войско сразу.

Между тем всадники притомились. Скачка их как-то затянулась. И Алексей Аркадьевич взроптал:

— Смотри, Майошка. Опять мост. И опять дрожит. Не нравится мне это... К тому же завтра у нас подъем в шесть утра.

— Не в шесть, а в семь. Мужайся, Монго! Тут всего версты три осталось.

Наконец-то родственники себя выдали. Столыпин назвал племянника *Майошкой*. Это прозвище Мишель, успешно тренировавшийся на других, дал себе сам, не дожидаясь клички от товарищей. Он обыграл французское слово *Maueux* — горбатый, косолапый, уменьшительно его русифицировал и по общности звучания через русские сказки связал с самим собой: *Мишка* косолапый — *Майошка* косолапый. В свою очередь и дядя изысканным прозвищем *Монго* был обязан племяннику. Это часть имени некоего Монгопарка — героя одного из французских романов. Среди многочисленных Столыпинных оно выделяло Алексея Аркадьевича, ни с кем его не путая. До конца жизни с легкой руки племянника дядю так и звали: Монго-Столыпин.

Вскоре после отлучки из пункта *Ху* (Хомутов) и приключения в пункте *Пи* (Пименова), о чем дальше, Майошке захочется изобразить Монго, но не углем по картону и не маслом на холсте, а словами балагура в поэме, жанр которой мы бы определили как *майошный*. Заметим, что майошные поэмы являлись из-под пера Анонима. Именно на них он оттачивал сверхъестественную пластику, музыкальность, мудрость и простоту своего так и оставшегося недосыгаемым поэтического искусства. Портрет «Монго на серой кобыле» Мишель хранил в запасниках сердца. Чувство чести у окружающих Монго измерял по себе. Он порядочный, и все порядочные. Он совестливый, и все совестливые. Но аршин для себя у него

был короткий, то есть весьма строгий, тогда как аршин для других — настолько длинный, что в него умещались почти все. Монго жил в сознании, как будто его окружают самые достойные люди, а люди были самые разные, но все сходилось на том, что уважающий их Монго — молодец, и реноме его было непререкаемо.

Серую кобылу на петергофской дороге понукал преданный англоман. Никакие вихляния дипломатического флюгера не меняли его отношения к Англии и всему английскому. Из высших соображений внешней политики государь, еще вчера вечером благоволивший Британии, сегодня в полдень мог вычеркнуть ее из своего сердца, чтобы завтра, садясь за традиционный five o'clock¹ в Зимнем дворце с видом на Неву и Петропавловскую крепость, снова найти в Альбионе нечто приемлемое для себя, а, значит, и для вверенной ему Богом России. Например, чашечку из тончайшего вустерского фарфора с чаем, привезенным в трюмах клиппера прямо из Индии, или ломтик цейлонского лимона такой отчетливой кислотцы, которая беспощадно сморщивает гримасой внушительные черты императора. А вот Монго не был подвержен колебаниям розы дипломатических ветров и неизменно запивал черным портером утренний поридж, съедал в обед сочный бифштекс, а five o'clock, ровно в 17.00, как будто член Палаты лордов в Нижнем буфете парламента, отмечал скором с йоркширскими сливками. И всё это совершенно независимо от того, куда указывала стрелка правительственного флюгера: на Францию, на Турцию, на Англию или на Китай.

Погоня за чинами Монго не интересовала. Карьера претит аристократу.

Аристократ живет не материальными приманками службы, а вольными порывами души, как смоляной факел на ветру творческого досуга. Дóма Столыпин мог подолгу бродить в халате. На великокняжеский смотр собирался нога

1 Ежедневное английское чаепитие, начинающееся в 5 часов пополудни.

зá ногу, со вздохами и тихими стонами, как на неизбежную повинность. Плац терпел с трудом. Шагистика его быстро утомляла, а команду: «Тяни носок в пятку!» (слегка переделанное им «тяни ногу в пятку!») — он просто отказывался понимать, хотя именно она считалась девизом исконно русского патриотизма. Он не тянул. Но однако же никто не винил его в отсутствии патриотической жилки, чувствуя, что его патриотизм носит несколько иные формы, нежели оттягивание носка в пятку, и что его англомания чудесным образом уживается с *любовью к родному пепелищу, с любовью к отеческим гробам.*

Но еще больше, чем сам Монго, ненавидела плац и манеж во всем похожая на хозяина любимая собака Столыпина, прозванная в честь него тоже Монго. Обыкновенно посреди затянувшихся учений или на смотре великого князя потерявшая терпение Монго начинала гоняться за английским жеребцом генерал-майора Хомутова, подпрыгивая и норовя уцепить коня за хвост. Жеребец чистых кровей, воспитанный в приличиях Букингемских конюшен, не позволял себе лгать Монго, но расплачиваться своим хвостом за безупречность воспитания Парадёру тоже не хотелось. Он нервничал, инстинктивно подбрасывая круп, что причиняло неудобство уже Его Превосходительству. Оно тоже начинало подпрыгивать в седле, тревожиться, отгонять собаку. Всё это, передаваясь по цепочке, раздражало великого князя, и он кричал: «Уберите отсюда эту суку! Чтобы я ее больше в гвардии не видел!». И дело велось к тому, что Хомутов вынужден был сворачивать учения или смотр до срока и пенять Монго на Монго, мотивируя свою позицию тем, что собаке, даже самой породистой, не место ни на плацу, ни в манеже. Монго извинялся за Монго. Монго передавал Монго претензии генерала. Монго выслушивала, всем своим видом давая понять, что ущемление прав животных на свободу передвижения не соответствует Великой хартии породистых вольностей. И ничего не менялось. Тогда Хомутову пришлось продать

жеребца Майошке. Пусть уж лучше собака гоняется за Лермонтовым. Вот в чем была причина сделки. Как честный офицер, Хомутов продал жеребца за те же деньги, что и купил, ибо мораль того времени и той среды была еще столь наивна, что не позволяла гвардейскому генералу наживаться на корнетах. Тем более на их бабушках.

Зато балет (в отличии от плаца) Алексей Аркадьевич обожал. Вот где тянули носок в пятку! Вот где можно было скончаться от патриотизма! Но это ведь совсем другое дело... В первый же вечер госпожа Пименова заметила Монго по восторженному блеску его лорнета и сколько могла дарила со сцены ослепительными улыбками. Монго бывал на всех ее спектаклях, а публика менялась и переключала внимание примы то на сверкавшего доспехами кирасира, то на старичка-вельможу лет сорока трех с глубокими залысинами и косыми звездами по фраку. Монго страдал, думал стреляться с кирасиром, но чем тогда хуже штатские? — а соперников — легион и всех не перестреляешь. Вместо дуэлей со множеством неизвестных дядя решил сосредоточиться непосредственно на госпоже Пименовой, заняться напрямую ею.

Майошка дядю поддержал. В чем-то они были схожи, а в чем-то племянник и перещеголял старшего по хронологическому дереву. Труду он тоже предпочитал упоительную лень. При малейшей возможности сбегал с дежурства домой, хотя дома, кроме того, что дразнить камердинера Андрея, делать ему было абсолютно нечего. Вопросы устройства государства, переоценку исторических ценностей, по-иному вскрывающую развилки между войной и миром, начитанный юноша обсуждал горячо и тонко, но потом вдруг спохватывался («Боже, чем я занимаюсь?!») и прекращал всякие споры.

Некоторые прозорливые сердца, особенно дамы, чувствовали в нем признаки каких-то грядущих горестей, но до поры он сдерживал их рост, не обращая внимание на то, что лично его не касалось, защитив себя нерушимой нарциссианской броней безразличия, надежной, как дамасская сталь. Он умел

вставать в позу гордеца, коварно притворяться и азартно врать или замыкаться в себе, как английский замок, ключ от которого сдан на вечное хранение Елизавете Алексеевне. Конечно, всё это рекомендует его «не слишком лестно», но что же делать, если природа распорядилась именно так? Нам остается лишь, не переча, принять ее волю.

Майошка был верным другом. Самочинная отлучка по амурной дядюшкиной надобности грозила и племяннику гауптвахтой или «губой». Но это присягнувшие царю немцы изредка попадали на гауптвахту, а русские сидели на «губе» часто и подолгу. «Губа», как вал над раскрытым ртом, не давала их проглотить, но не спешила и стряхивать на пол казармы, освежив презрительным плевком. За все свои заслуги Майошка имел на «губу» такой же постоянный абонемент, как Монго в Мариинскую ложу. Лишний раз пользоваться привилегией он не жаждал, однако отказать дяде, заявив, что со своими дамами тот должен разбираться сам, племянник тоже не мог.

И вот, проклиная вчерашнюю пьянку, страдая от изжоги, он погонял и погонял Савраску по знакомой дороге между Петергофом и Петербургом. Надо было доехать до трактира «Красный кабачок». Где-то там по соседству притаилось одно сумасшедшее заведение. В нем и квартировала Екатерина Егоровна. Почему оно — сумасшедшее, и как прельстительная туда попала? Возможно ошибка: не сумасшедшее, а суматошное, а устроил ее туда на лето благодетель — господин Моисеев из Казани, крупный зернопромышленник. Он — человек солидный, в годах. Ему некогда ухаживать, вздыхать, притворяться. Ему только успевай мельницами ворочать. Для него любовь не разговоры о намерениях, а непосредственно молотьба. Но без разговоров молотится как-то сухо. А чуть отъедешь за Волгу, на хозяйство, гляди, вокруг балета уже гусары тучей вьются, как саранча.

Вон какие-то двое привязывают коней в аллее. Перемахнули через забор и к окошку. А Пименова раскинулась на шелковом диване и думает: «До чего жизнь чудная! Матушка

моя никакого вкуса не имела. Чепцы носила никудышные, самые дешевенькие. В искусстве ничего не разбиралась. Про отца я вообще молчу. Егор на кузне почтовым клячам копыта подковывал. Кувалдой весь день махал, вызванивал по наковальням, а свистал от радости, как канарейка. Я же лежу на шелковом диване, и всё мне обрыдло. Пряники надоели, варенье надоело, арбуз приелся, и повар выпорот...

— Панфишка, болван, подай мармеладу барыне!

А мой Пьер сидит у себя в Казани, от богатства отупевши. На уме одни телеги, мешки да жернова. Батман от па-де-труа не отличает. Стихов не учит. Романсов не поет. К слову *толкуй* никакой рифмы приискать не может. Кроме одной. Ну, это же срам!

В балетной школе я, конечно, промучилась. С утра — классы. В щели дует. Фортепьяно расстроено. Тянешь ногу у станка, как птица эта... как ее?.. — аист. Потом везут на прогулку. Кругом — офицеры. Но не думай хотя бы с двумя познакомиться. Директор-зверь при всех заголит и под кнут. А сам такой жуир, такой бонвиван... Такая сволочь!»

При этих словах Пименова взглянула на окно и ахнула. Оттуда лезет Монго с нагайкой, за ним — Майошка. «Боже мой! А этот-то куда — косолапенький?!»

— Что за вздор, господа? Кто вас звал? Как вам не стыдно?

— Мы только чаю попить. По чашечке. И сразу — назад.

— Ну, ладно, раз приехали...

Монгошка такой красавчик! Не то что Майошка.

Чаю попил. Подсаживается. Начинает слова говорить. Приятный разговор заводит. Вспоминает, упрекает, намекает. Батман... Па-де-труа... Это вам не Пьер из Казани. Целует ручку, локоток... Дальше продвигается. А вот это уже слишком!..

Майошка, вижу, помрачнел. Сидит на диване по-турецки, точно султан или божок какой. Глаза закрыл, качается взд-вперед, как болванчик.

Не тужи, — думаю. — Чувствуешь себя лишним? Как знать...

И вдруг под окнами коляска. А в ней человек двадцать. Святые угодники! Это Пьер с Волги нагрязнул без предупреждения со своей оравой. Все выпивши, все на взводе. Куда мне гвардию-то прятать? Комод вещами забит. Под кроватью полный горшок. Гости мои сами смекнули, перекрестились да в окошко и попрыгали...»

Так дядя с племянником вернулись в полк не солоно хлебавши. Но утром, выспавшись, уже вспоминали приключение, как анекдот, и Пушкина к месту приплели: «А что пройдет, то будет мило».

2

Спустя недели две после означенного события Майошка описал его в анонимной поэмке или повести в стихах «Монго» и дал почитать дяде — главному герою приключения. Тот списал стихи для себя, а рукописный оригинал пустил по рукам. Через некоторое время поэмку знал уже весь полк, включая командира — генерал-майора Хомутова. На подобные случаи был установлен следующий форменный порядок реагирования со стороны начальства. Хомутов прочитывал стихи с пером в руке, делая свои пометки, и накладывал резолюцию: «Оставить без внимания». Или: «Запретить. Автора посадить на гауптвахту». И тогда, шито-крыто, всё оставалось в полку. Или: «На усмотрение графа Чернышева». И тогда список посылали военному министру графу Чернышеву, который, помимо прочего, курировал и армейскую литературу, полную золотоордынских приправ, не позволяя ей слишком уж разгуляться. Чернышев прочитывал, делая свои замечания, и накладывал резолюцию: «Оставить без внимания». Или: «Запретить. Автора отдать под суд». Или: «На усмотрение Александра Христофоровича». И тогда список посылали графу Бенкендорфу — начальнику III-го, как мы помним, Отделения Собственной Канцелярии Его Императорского Величества, ведавшему вопросами государственной безопасности (тайная полиция). Бенкендорф прочитывал и решал: «Оставить без

внимания», или «Запретить» или «Представить на усмотрение Государя». В последнем случае список доставляли царю.

Стихи в России писали не только военные, в том числе офицеры гвардии, но и штатские; не только матершинники, но и благопристойные стилисты; не только бездари, но и таланты; однако Николаю Павловичу подавалось лишь избранное: самое искусное и потому особенно щекотливое, не важно какое ведомство или род войск представлял автор.

Император любил поэзию. Гёте, немецких романтиков. Отчасти и жрецов отечественной музыки, верных традициям немецкого романтизма. При этом во главу угла ставилась благонамеренность сочинителя, она служила опорой всего здания, а талант надстраивался сверху, как радующая глаз веселенькая мансарда. Никаких официальных приговоров доходившему до него самотёку император не выносил. Вместо этого он выражал свое частное, но энергичное мнение по поводу того или иного произведения, как-то: «Дрянь!» Или «Не дурно». Или: «Ничего не могу сказать, написано хорошо. Но *что* он пишет — мерзавец?!» И это воспринималось придворными как руководство к действию.

Приключение, описанное Майошкой, не представляло угрозу для государственной безопасности, а потому не имело шансов продвинуться дальше Хомутова. Если бы до нас дошел список поэмы с пометками читателя-командира, сделанными тут же, прямо на полях, то экземпляр выглядел бы так.

Аноним

МОНГО

Повесть в стихах

Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом,
И вот дорогой столбовой
Летят, склонившись над лукой,

Два всадника лихим полетом.
 Один — высок и худощав,
 Кобылу серую собрав,
 То горячит нетерпеливо,
 То сдержит вдруг одной рукой.

Узнаю корнета Столыпина.

Мал и широк в плечах другой.
 Храпя мотает длинной гривой
 Под ним саврасый скакунок,
 Степей башкирских сын счастливый.

*Башкирских? А почему корнет Лермонтов не велел седлать
 купленного у меня английского жеребца?*

Устали всадники. До ног
 От головы покрыты прахом.
 Коней приезженных размахом
 Они любят порой
 И речь ведут между собой.
 — Монго, послушай — тут направо!
 Осталось только три версты.

Интересно... Откуда он знает дорогу? Уже бывал?

— Постой! уж эти мне мосты!
 Дрожат и смотрят так лукаво.

Похоже тут не мосты лукаво смотрят, а племянник.

— Вперед, Майошка! только нас
 Измучит это приключение,
 Ведь завтра в шесть часов ученье!
 — Нет, в семь! я сам читал приказ!

Действительно, в моем приказе стояло 7.00. Молодец, помнит службу!

Но прежде нужно вам, читатель,
 Героев показать портрет:
 Монго — повеса и корнет,
 Актрис коварных обожатель,
 Был молод сердцем и душой,
 Беспечно женским ласкам верил
 И на аршин предлинный свой
 Людскую честь и совесть мерил.
 Породы английской он был —
 Флегматик с бурыми усами,
 Собак и портер он любил,
 Не занимался он чинами,
 Ходил немывтый целый день,
 Носил фуражку набекрень;
 Имел он гадкую посадку:
 Неловко гнулся наперед
 И не тянул ноги он в пятку,
 Как должен каждый патриот.

Вот это плохо. Небрежение к военной карьере, фуражка набекрень... Куда годится? А какая связь между «ногой в пятку» и патриотизмом? Тут бы надо еще разобраться...

Но если, милый, вы езжали
 Смотреть российский наш балет,
 То верно в креслах замечали
 Его внимательный лорнет.
 Одна из дев ему сначала
 Дней девять сряду отвечала,
 В десятый день он был забыт, —
 С толпою смешан волокит.

Это что же получается? Столыпин десять вечеров кряду в театре пропал? А кто же тогда вместо него нес дежурство по полку?..

Все жесты, вздохи, объяснения
Не помогали ничего...
И зародился пламень мщенья
В душе озлобленной его.

Вроде не по-христиански: «пламень мщенья», хотя по молодости лет оно и понятно.

Майошка был таких же правил:
Он лень в закон себе поставил,
Домой с дежурства уезжал,

Бросал пост? А вот за это — три дня гауптвахты! На воре и шапка горит.

Хотя и дома был без дела;
Порою рассуждал он смело,
Но чаще он не рассуждал.
Разгульной жизни отпечаток
Иные замечали в нем;
Печалей будущих задаток
Хранил он в сердце молодом;
Его покоя не смущало, —
Что не касалось до него;
Насмешек гибельное жало
Броню железную встречало
Над самолюбием его.
Слова он весил осторожно
И опрометчив был в делах;
Порою: трезвый — врал безбожно,
И молчалив был — на пирах.

Характер вовсе бесполезный
И для друзей и для врагов...
Увы! читатель мой любезный,
Что делать мне — он был таков!

Автопортрет... По крайней мере искренно.

Теперь он следует за другом
На подвиг славный, роковой,
Терзаем пьяницы недугом, —
Изжогой мучим огневой.

Любишь кататься, люби и саночки возить.

Приюты неги и прохлады
Вдоль по дороге в Петергоф,
Мелькают в ряд из-за ограды
Разнообразные фасады
И кровли мирные домов,
В тени таинственных садов.

Сказано приятно. Хвалю.

Там есть трактир... и он от века
Зовется Красным Кабачком,
И там — для блага человека
Построен сумасшедших дом,
И там приют себе смиренный
Танцорка юная нашла.

Не понятно, как она туда попала? То ли сумасшедший дом — иносказание, то ли — что?

Краса и честь балетной сцены,
На содержании была:

Н. Н., помещик из Казани,
 Богатый волжский старожил,
 Без волокитства, без признаний
 Ее невинности лишил.

Да, нравы, честно скажу, у нас еще дикие.

— Мой друг! ему я говорил:
 Ты не в свои садишься сани,

Так оказывается автор знаком с этим помещиком?

Танцоркой вздумал управлять!
 Ну, где тебе <прам-прам-там-тять>

Хоть так. (Я имею в виду косые скобки).

Но обратимся поскорее
 Мы к нашим буйным молодцам.
 Они стоят в пустой аллее,
 Коней привязывают там,
 И вот, тропинкой потаенной,
 Они к калитке отдаленной
 Спешат, подобно двум ворам.

Корнет, неужели вы не слышите неудобопроизносимое удвоение согласных: к калитке... — к к?

На землю сумрак ниспадает,
 Сквозь ветви брезжит лунный свет
 И переливами играет
 На гладкой меди эполет.

Великолепный пассаж! Особенно: «На гладкой меди эполет». Произвести в поручики.

Вперед отправился Майошка;
В кустах прополз он, как черкес,

Навеяно нашими переделками на Кавказе.

И осторожно, точно кошка,
Через забор он перелез.

Лучше бы сказать через ограду или через штакетник, чтобы не повторять два раза: он — он.

За ним Монго наш долговязый,
Довольный этою проказой,
Перевалился кое-как.
Ну, лихо! сделан первый шаг!
Теперь душа моя в покое, —
Судьба окончит остальное!

Михаил думает, что если начало удалось, то и всё получится. Ну-ну...

Облокотившись у окна,
Меж тем танцорка молодая
Сидела дома и одна,
Ей было скучно и зевая
Так тихо думала она:
«Чудна́ судьба! о том ни слова, —
На матушке моей чепец
Фасона самого дурного,
И мой отец — простой кузнец!..
А я — на шелковом диване
Ем мармелад, пью шоколад;
На сцене — знаю уж заране, —
Мне будет хлопать третий ряд.
Теперь со мной плохие шутки:

Меня сударыней зовут,
 И за меня три раза в сутки
 Каналью повара дерут,
 Мой Pierre не слишком интересен,

Не иначе, как своего казанского помещика Петра танцорка окрестила Pierre-ом.

Ревнив, упрям, что ни толкуй,
 Не любит смеху он, ни песен,
 Зато богат и глуп, <трам-труй>

Без почтения.

Теперь не то, что было в школе:
 Ем за троих, порой и боле,

Как Балда в пушкинской сказке. Тот ел за четверых. Правда, за семерых и работал.

И за обедом пью люнель.

Пивали и мы эти летние коктейли: шампанское, ликер, соки...

А в школе... Боже! вот мученье!
 Днем — танцы, выправка, ученье,
 А ночью — жесткая постель.
 Встаешь, бывало, утром рано,
 Бренчит уж в зале фортепьяно,
 Поют все врозь, трещит в ушах;
 А тут сама, поднявши ногу,
 Стоишь, как аист, на часах.

Зримо!

Флёрí хлопочет, бьет тревогу...
 Но вот одиннадцатый час,

В кареты всех сажают нас.
Тут у подъезда офицеры,
Стоят все в ряд, порою в два...
Какие милые манеры
И всё отборные слова!

Уж не те ли, что заключены в косые скобки в виду их «отборности»?

Иных улыбкой ободряешь,
Других бранишь и отгоняешь,
Зато — вернулись лишь домой —
Директор порет на убой:

Директор — большая свинья. Пороть балеринку всё равно, что над пушинкой измываться.

Ни взгляд не думай кинуть лишний,
Ни слова ты сказать не смей...
А сам, прости ему всевышний,
Ведь уж какой прелюбодей!..»

Два последних стиха весьма удачны!

Но тут в окно она взглянула,
И чуть не брякнулась со стула.

Брякнулась — хорошо. Но не хуже было бы и: шмякнулась, грохнулась, шлепнулась, хлопнулась, рухнула...

Пред ней, как призрак роковой,
С нагайкой, освещен луной,
Готовый влезть почти в окошко,
Стоит Монго, за ним Майошка.

«Что это значит, господа?
И кто вас звал придти сюда?»

Вопросы риторические. Никто.

Ворваться к девушке — бесчестно!..»

Согласен. Но ведь они — гусары.

— Нам право это очень лестно!

Что же тут лестного?

«Я вас прошу: подите прочь!»

Мягко просит... Не настаивая...

— Но где же проведем мы ночь?

А-а! Спыхватились, голубчики?.. А кто вам разрешил без спросу покинуть казарму? Сейчас бы спали да спали. Обоих разжалую в унтер-офицеры!

Мы мчались, выбились из силы..

Почему же «из силы», когда говорят «выбиться из сил»?

«Вы неучи!» — Вы очень милы!..
«Чего хотите вы теперь?
Ей-богу, я не понимаю!»

Женское кокетство.

— Мы просим только чашку чаю!

Мужская дымовая завеса.

«Панфишка! отвори им дверь!»

Поняли друг друга.

Поклон отвесивши пренизко,
Монго ей бросил нежный взор,
Потом садится очень близко
И продолжает разговор.
Сначала колкие намеки,
Воспоминания, упреки,
Ну, словом, весь любовный вздор...
И нежный вздох прилично-томный
Порхнул из груди молодой...

Не из груди, а из груди. Для этого надо поправить два стиха:

*Порхнул из молодой груди.
Вот ножку нежную, гляди,*

Вот ножку нежную порой
Он жмет коленкою нескромной,
И говоря о том, о сем,
Копаясь, будто бы случайно
Под юбку лезет, жмет корсет,
И ловит то, что было тайной,
Увы, для нас в шестнадцать лет!

Сочно. Но не люблю натурализма.

.....
Майошка, друг великодушный,
Засел поодаль на диван,
Угрюм, безмолвен, как султан.

Чужое счастье нам скучно,
Как добродетельный роман.

Складно сказано, отец Варлаам!

Друзья! ужасное мученье
Быть на пиру <прам-прам-трам-тром>
Иль адъютантом на сраженьи
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонёром,

Для штатских следует пояснить: жалонёр — солдат, поставленный на параде или на смотре для указания линии, по которой выравниваются войска.

Или на бале быть танцором,
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз
И думать: это не для нас!
Меж тем Монго горит и тает..
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж:

Блестяще!

Девятиместная коляска
И в ней пятнадцать седоков...

На шесть больше нормы. Я бы наказал.

Увы! печальная развязка,
Неотразимый гнев богов!..
То был N. N. с своею свитой:

Степаном, Федором, Никитой,
Тарасом, Сидором, Петром,

*Все шестеро лишних названы по именам. Известно, кого
наказывать.*

Идут, гремят, орут, содом!
Все пьяны... прямо из трактира,
И на устах — <п~~ра~~м-п~~ра~~м-т~~ра~~м-т~~ро~~м>

*Не могу сразу сообразить подходящую <для косых скобок>
рифму к слову тром.*

Но нет, постой! умолкни лира!
Тебе ль, поклоннице мундира,
Поганых ф~~ра~~чных воспевать?..
В истерике младая дева...
Как защититься ей от гнева,
Куда гостей своих девать?..
Под стол, в комод иль под кровать?
В комод~~е~~ места нет и платью,
Урыльник полон под кроватью...

Ночной горшок? Ёмко!

Им остается лишь одно:
Перекрестясь, прыгнуть в окно...
Опасен подвиг дерзновенный,
И не сносить им головы!
Но вмиг проснулся дух военный —
Прыг, прыг!.. и были таковы...

.....
.....

За находчивость обоим унтер-офицерам вернуть чин корнета. Строчками отточий, очевидно, по скромности, отмечен подвиг двух гусар, без потерь, в боевом порядке отступивших при виде неприятеля, превосходившего численностью нашу гвардию в семь с половиной раз! Действия гвардейцев вверенного мне полка считаю разумными.

Уж ночь была, ни зги не видно,
 Когда свершив побег обидный
 Для самолюбья и любви,
 Повесы на коней вскочили
 И думы мрачные свои
 Друг другу вздохом сообщили.

Мои офицеры понимают друг друга без слов.

Деля печаль своих господ,
 Их кони с рыси не сбивались,
 Упрямо убавляя ход,
 Они <прам-трам-там> спотыкались,

Согласен. Здесь невольно вырвется: прам-трам-там...

И леньность их преодолеть
 Ни шпоры не могли, ни плеть.
 Когда же в комнате дежурной
 Они сошлись поутру,
 Воспоминанья ночи бурной
 Прогнали краткую хандру.
 Тут было шуток, смеху было!
 И право, Пушкин наш не врет,
 Сказав, что день беды пройдет,
 А что пройдет, то будет мило...

И Пушкина пострел ввернул очень кстати. Тот в таких делах мастак был.

Так повесть кончена моя,
И я прощаюсь со стихами,
А вы не можете ль, друзья,
Нравоченье сделать сами?..

Конечно, можем!

Прежде, чем пускаться во все тяжкие с танцоркой, желательно было разведать намерения ее благодетеля, склонного к быстрым набегам с Волги на Балтику и нанявшего целую роту, лишь бы заставить отступить цвет императорской гвардии!

РЕЗОЛЮЦИЯ

§ 1

Повесть в стихах «Монго» — сочинение корнета Лермонтова оставить без внимания.

§ 2

Учитывая грамотные действия младших офицеров перед лицом превосходящих сил неприятеля, корнетам Столыпину и Лермонтову объявить благодарность.

§ 3

За самовольную отлучку из расположения воинской части 30.08 с.г. корнетов Столыпина и Лермонтова посадить на гауптвахту на трое суток.

Командир лейб-гвардии Гусарского полка
генерал-майор М. Г. Хомутов

3

Милая бабушка!

Знаю, что до Вас доходят всякие слухи обо мне, бывает, что и ложные или сильно преувеличенные. Особенно по части моих сочинений. Во-первых, я их не всегда подписываю, они бывают представлены публике анонимно (оцените

мою благоразумность), а в таких случаях соотносить их со мной лишено оснований. Во-вторых, если авторство мое и очевидно, то зачем же всякий стих трактовать мне во вред, когда можно на пользу? В-третьих, я на хорошем счету у начальства, оно в курсе дела и выносит справедливые решения.

Однажды сочинил я повестушку в стихах «Монго», посвященную Вашему двоюродному брату, а моему дорогому дядюшке Алексею Аркадьевичу. Осмотрительно ее не подписал. Тем не менее все указали пальцем на меня, что по крайней мере не воспитанно. Я не стал отпираться, ибо не нахожу в оной ничего предосудительного. Судите сами, как всё было на самом деле.

Два гусара летним вечером выезжают на прогулку перед сном. Это что — предосудительно? Описывается наша средне-русская равнина: как солнце садится, как туманы стелятся... Что тут неприличного? Гусары разговаривают, вспоминают службу, что завтра в семь утра подъем...

Дальше автор касается Монго, его любви к животным, к императорскому балету. Потом ссылается на себя. Признаётся, что иногда допускал нарушения, позволял себе рассуждать, но гораздо чаще ни в какие рассуждения не пускался, слова взвешивал с осторожностью, а насмешникам не отвечал вообще. Генерал-майор Хомутов Михаил Григорьевич, хорошо вам известный по моим рассказам, специально отметил в этом месте на полях откровенность сочинителя и поставил это ему в заслугу.

А далее начальство обратило внимание на стихи:

Приюты неги и прохлады
Вдоль по дороге в Петергоф,
Мелькают в ряд из-за ограды
Разнообразные фасады
И кровли мирные домов,
В тени таинственных садов. —

и пометило: «Сказано приятно. Хвалю».

Надеюсь, и Вам понравится.

Наконец, гусары приехали на дачу, где перед началом сезона отдыхала госпожа Пименова Екатерина Егоровна из Мариинского театра — наша несравненная балерина, и по тропинке пробрались к заброшенной калитке. Тут внимание командира полка снова привлекли удачные, на его взгляд, стихи:

На землю сумрак ниспадает,
Сквозь ветви брезжит лунный свет
И переливами играет
На гладкой меди эполет.

Особенное впечатление на Его Превосходительство произвел последний стих. За него Михаил Григорьевич даже хотел распорядиться произвести меня в поручики. Потом, правда, передумал.

Поскольку гусары приехали к балерине без приглашения, не имея возможности связаться с нею заблаговременно, то, опасаясь быть не принятыми через запертые двери, воспользовались открытым окошком. Екатерина Егоровна вначале немного испугалась, а потом, убедившись в своей полной безопасности, приняла гостей с наилучшим почтением: предложила чаю, поставила на стол мармелад, варенье... «Кушайте, гости дорогие!» Алексей Аркадьевич очень нежно поговорил с хозяйкой, а я вообще сидел, поджав ноги по-турецки, отдельно на шелковом диване и ни во что не вмешивался.

Как вдруг во дворе шум, гам, тарарам и влетает коляска, полная новых гостей! Это из Казани прикатил добрый друг Екатерины Егоровны господин Моисеев, почтенный зернопромышленник, а с ним большая компания — четырнадцать человек! Хозяйка смутилась: как ей столько приезжих принять? Одно дело два гусара, а другое — целый экипаж... Но гусары, воспитанные не столько «под барабаном», сколько в кругу семьи, то есть в Вашей, бабушка, чуткости, поняли

смущение Екатерины Егоровны и не прощаясь, тихо, по-английски, удалились, дабы не затруднять собою ее и так затруднительное положение.

Благополучно возвратившись в полк, друзья пошутили стихами Александра Сергеевича, что день пройдет, «а что пройдет, то будет мило».

В «Резолюции» на повестушку и само происшествие командир полка генерал Хомутов начертал: «Повесть в стихах “Монго” — сочинение корнета Лермонтова оставить без внимания».

Вы можете удивиться и спросить: «Как без внимания, когда так внимательно прочел?» Здесь «Оставить без внимания» означает: “Не нахожу ничего предосудительного и вверх по начальству не докладываю”. Самое для меня, как сочинителя, лучшее.

Больше того, с учетом нашего поведения на даче у госпожи Пименовой генерал распорядился «корнетам Столыпину и Лермонтову объявить благодарность», хотя и пожурил за самовольную отлучку из казармы.

Вот, милая бабушка, как это выглядит, если посмотреть на дело не во вред, а на пользу.

С нетерпением жду Вашего регулярного вспоможения, а желаю Вам каждый день крепкого здоровья и без всяких вспоможений, Вы мое отношение знаете и чем я Вам обязан. Низайший поклон от дяди Алексея Аркадьевича. Пожелание всех благ от генерал-майора Хомутова, по-отечески навестившего нас с дядей на гауптвахте, откуда я и пишу это письмо.

Целую Ваши ручки.

Внук Ваш Миша.

ГЛАВА IV

ЗИМНЯЯ ГРОЗА

1

Воскресенье 15 сентября 1836 года некто Бурнашев Владимир Петрович, литератор, пришел в гости к своему приятелю гусарскому офицеру Афанасию Ивановичу Синицыну. Этот визит настолько впечатлил Бурнашева, что он запомнил его до деталей.

— Представляете, Афанасий Иванович? Поднимаюсь я к вам по лестнице, а навстречу сбегает какой-то молоденький гвардеец с развевающимся белым султаном. Что-то его развеселило, настроение преотличное, шинель нараспашку, шпоры звенят, сабля гремит. Он задевает капюшоном мою шинель, вскидывает на меня черные, довольно, между прочим, красивые глаза и просит прощения, но — как? Какими словами? «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном». — И летит сломя голову вниз.

Вы знаете, я не ханжа, но не люблю фамильярностей. Мы видим друг друга первый раз в жизни. Что за тон? Что за лексика? «Лезет без спроса целоваться...» И какой-то чрезмерный азарт. Сапоги стучат, шпоры звякают, сабля бьет по ступеням. Я к такому не привык. Я, признаюсь, вырос на воспитанности наших кавалеристов. Они носят оружие

очень аккуратно, с большой осторожностью. Не позволяют себе никакого стука, никакого громыхания. А тут?.. И еще я заметил, что при всей своей развязности офицерик этот бросил на меня взгляд сосредоточенный и весьма тяжелый... Неприятное впечатление.

Тем временем Афанасий Иванович, сам известный аккуратист, в шелковом халате, надетом на свежайшую косоворотку, ходил между цветочными горшками, которые во множестве уставляли окна его квартиры, и тщательно выбирал из горшков окурки едва прикуренных маисовых пахитос, как будто куривший делал несколько мелких затяжек, после чего сминал и выкидывал почти целую пахитосу, используя горшки в качестве пепельниц. Одного этого жеста хватило бы для того, чтобы извлечь массу наблюдений за характером курильщика. Не меньше, чем окурков из горшков. И небрежность, и нервозность, и торопливость, и расточительность и неуважение к хозяину, наконец. Тот разводил и лилеил свою флору не в предположении, что гости станут утыкать ее окурками.

— Что вы так хлопчете, Афанасий Иванович? — спросил Бурнашев, садясь в кресло с высокой спинкой, верх которой был прикрыт антимакассаром¹, чтобы жирные волосы на затылке не портили штофа.

— Да как же? — отвечал Синицын раздраженно. — Вы знаете, Владимир Петрович, что я, как и вы, во всем люблю порядок. А тут без всякого приглашения влетает к вам товарищ по Школе гвардейских подпрапорщиков, острит, хохочет, курит, не спрашивая разрешения у не курящего, сыплет пепел повсюду, Темперамент из него просто хлещет! Я ему пепельницу предлагаю, а он и не смотрит, рассовывает окурки по цветочным горшкам, как будто я специально горшки расставил, чтобы ему удобней было окурки тушить. Да еще забавляется разбойник тем, что, натывав пахитосы,

1 Тканевая или бумажная салфетка.

как свечи, фитильками вниз, расковыривает землю и новые окурки закапывает под корни с траурным маршем. Пеплом сорит, цветы портит, того гляди, рододендрон мне засушит своим куревом. И при этом трещит, трещит непрерывно. Какие-то сальности про светских красавиц, сомнительные анекдоты, скверные французские стишки... А самому-то Бог дал такой талантище! По-русски стихи пишет самые прелестные, чистоты необычайной. Такие одному Пушкину удавались. Такой певучести, знаете, что сразу на память ложатся. Не стихи, а сонаты.

— Кто же этот гусар?

— Лермонтов. Мы с ним учились вместе в кавалерийском отделении.

Его кузен Коля Юрьев, тоже наш брат гусар, так мастерски Мишкины стихи читает, что звуки льются самой высокой гармонии. Но при этом Мишель способен в любой момент, как коровью лепешку с лопаты, плюхнуть на страницу самую отвратительную барковщину. Он как будто стыдится своего изящного вкуса, своей утонченности; боится, что его засмеют, как эстета, и готов очаровательное стихотворение испахобить какой-нибудь непотребностью. Я каждый раз читаю и дрожу: только бы не сорвался, только бы не сорвался... Сколько раз ему говорил: «Не оскорбляй Богом данного, не повесничай талантом!». Улыбается. Еще и думает, поди: если даром дано, то что ж тогда дорожить?

А эта ф́арса на лестнице — с шинелью и хитоном — очень похожа на Михаила. То-то он всё хороводится с Костей Булгаковым. Два сапога — пара. А великий князь к ним снисходителен, смотрит сквозь пальцы, как на допустимые шалости, лишь бы шалили добродушно и не лезли в политику.

— Не могу понять, дорогой Афанасий Иванович, как в одном человеке уживаются такие, как вы говорите, противоположности?

— Что ж тут удивляться? Сейчас Пушкин, кажется, несколько поутих, а какой был сорвиголова. Даром что

штатский. А почище всех сорвиголов прежних, сущих и грядущих. Не приходится нам на Мишку удивляться, что талант путает с молодечеством. Я, Владимир Петрович, придерживаюсь того мнения, что природа во всем ищет компенсаций. Силачу Бог ума не дает. Пусть уж лучше чего наворочает без умысла, чем с умом всех в бараний рог согнет. А душу ангельскую, чтобы она раньше времени не отлетела, грязный язык к земле привязывает...

— Не припомните ли вы, Афанасий Иванович, — спросил раззадоренный Бурнашев, — хоть несколько стихов товарища вашего? Вы бы славно меня угостили, прочитав какой-нибудь отрывок.

— Как не припомню? Но я вам лучше не наизусть, а по тетрадке прочту. Только вчера Юрьев Коля доставил мне копию списать. Эта поэмка называется «Монго». Бойко пишет шельма! А перед бранью и здесь не устоял. Ну, ладно, раз пишешь, то не откажи товарищам — читай. Нет, не допросишься. Дай в печать. Не дает. Дай хотя бы с рукописи копию снять. И в этом отказ. Нету, мол. Всё изжег на раскуривание гусарских трубок. Сумасшедший! Такие стихи жечь... Я ему как-то предложил: «Майошка, напиши, брат, сотню стихов о чем хочешь. Охотно заплачу тебе по три рубля за стих. Обязуюсь не передавать в печать. Только для меня и моих друзей. Нет, не соглашается. Божился греховодник, что и «Монго» у него нет: раскурил. Хорошо Юрьев для меня копию подтибрил. А то бы мы так и остались ни с чем.

История правдивая, как на самом деле было.

Недель шесть назад Столыпин Алексей с Майошкой совершили путешествие верхами на дачу близ «Красного кабачка», где летом жила наша прелестнейшая нимфа Пименова. Вы вот, Владимир Петрович, на балет не ходите, а я видел, какой фурор она производит, как говорится, «партер и кресла — всё кипит», а в бенеуарной ложе между волокитами делает целую революцию! Девочка со вкусом. В нее влюбился Столыпин. Ну, и она не могла не влюбиться в такого красавца.

Короче говоря, дядя едет к ней по амурным делам, как глава делегации, а Майошка при нем сопровождающее лицо.

Кузены уже в окошке, балеринка — на шелковом диване. Но тут, как снег на голову, валится господин Моисеев, ее благодетель, зернопромышленник. Состояние громадное. Барыши гребет лопатой, как зерно на току. Хозяйка в смятении. А молодцы-гусары оценили обстановку и ретировались в то же самое окошко.

Извините, что попортил эффект своим предисловием.

Но Бурнашев только рад был. Не надо на сюжет отвлекаться, можно насладиться стихами без всякого отвлечения. Просил Сеницына и впредь всё ему списывать, что Лермонтов сочинит.

По уходе гостя Афанасий Иванович сравнил два визита — Майошкин и Бурнашева. Там — всё вверх дном, дым коромыслом; здесь — покой, тишина, приятный разговор. Там — спички, пламя, окурки в горшках; хохот, брань, непотребства. Здесь — человек некурящий, уважительный, любит цветы, никакого — Боже упаси! — сквернословия. Вот сидел в кресле вольтеровском два часа, спокойно сидел, антимакассар не засалил, подлокотники не сломал, пружины не потревожил — ни одну не выпустил наружу. Ничего не испортил! Но ничем и не восхитил. Тот, когда в духе, — чистая музыка. Душа заходится. А этот?.. «Списывайте мне и впредь».

Думал Афанасий Иванович, что больше гостей не будет. Как бы не так. Завершил вечер третий визит. Незвано зашел двоюродный майошкин брат Коля Юрьев, тоже гусар-стихотворец. Ну, ему Сеницын всегда рад. Николай себя не выпячивает, буде и он коротко с музами знаком. «Я — что? Вот Мишка — это да!»

— А в чем разница? — спросил как-то Сеницын.

— Понимаешь, народ как пишет? Всё больше от башки. Поздравления, пожелания, шутки всякие... А башка-то у нас какая? Сам знаешь... Длинноносых дразнят: «Нос Бог семерым нес». А у Мишеля голову Бог семерым нес. Он пишет

с головой, но не от головы. Он от пупа пишет. Я видел его один раз в таком состоянии. У него все жилки играли, как у его Парадёра. Он горел весь, как изнутри наиллюминированный. А мне бы, брат, поёрничать, байки потравить да чубук закурить.

Синицын намек понял. Сам он не курил, однако знал толк в табаке и держал для друзей целую коллекцию преотличных чубуков. А заведовал коллекцией мальчик-казачок по прозвищу Чубукши-паша. Как всё у Синицына, чубуки содержались в идеальном порядке. Чубукши-паша регулярно чистил их «гусаром» — жесткой проволокой со щеткой. Афанасий Иванович кликнул казачка и приказал тому подать для гостя весь набор чубуков на выбор, а сам налил по бокалу «Совиньона» из долины Луары, усадил Юрьева в то самое вольтеровское кресло, которым так бережно пользовался Бурнашев, и приготовился слушать очередную бесподобную байку.

— Ну, что, брат Синицын, — начал Юрьев. — А слышал ли ты о нашей с Майошкой проделке на заставе в масленицу 35-го года?

— Нет. Расскажи.

Юрьев раскурил чубук, выпустил четыре сатурновых колечка дыма, а когда они рассеялись, предался счастливому воспоминанию.

— Мы праздновали производство в офицеры, а проделку Майошка назвал «Всенародная энциклопедия имен». Он ее и придумал.

Служба не отпускала. Зажился Михаил Юрьевич в Царском. Кутит напрапалую! А бабушка в Петербурге истосковалась по-своему Мишеньке, никак не дозвется. Умоляет: «Приезжай!» — но он и ухом не ведет. Сидит с друзьями на Селе — навеселе, весь в бутылках, а бабушку уверяет, что день и ночь на плацу да в манеже несет службу царскую — беспробудную. И только просит деньжат, деньжат подкидывать. Расходы большие. Денщик, камердинер, повар...

Обмундирование... А еще Парадёр, Савраска, сбруя... Бабушка шлет и шлет. А выпивка глотает и глотает.

Между тем масленица кончается, внук до сих пор бабушкиных блинцов не отведал, разве это порядок? Она ко мне:

— Коля, выручай. Тащи его, проказника, в Петербург bon gre, mal gre (хочет не хочет). Блины стынут...

Собираюсь по-солдатски: за восемь считанных минут, и — тройка у дверей!

Но тут вваливается ко мне вся наша честная компания во главе с Костей Булгаковым. Как бабушка про это прознала — неизвестно, только присылает ко мне камердинера с блинами на пробу, а проба — на всю ораву. Камердинер отводит меня в сторону, шепчет, что Её Превосходительство Елизавета Алексеевна наказывают ехать в Царское со всем эскадром и сразу назад вместе с Мишенькой к ней на блины. Вторая тройка — от бабушки — уже звенит колокольчиками: подъезжает.

Вот это праздник!

Состояние духа — широкое, масленичное!

А в Царском у Майошки пир горой. Балтазарова пирушка. Все гусары с обнаженными саблями, а на клинках — сахарные головы, облитые ромом, пылают синим пламенем в темноте. Булгашка вошел в раж, сыплет французскими стишками про гульнувшую в Шабли молодую Натали, аппетитную Жоржетту и нежнейшую Лизетту. А Майошка, ломая карандаши, ваяет в русских стихах застольную песню такого рода, которую можно только хором орать, напившись до положения риз. Мы орем, так перепугав безногого царскосельского беса, что, не зная, на ком выместить зло, он велит выпороть трёх дворцовых истопников, ни сном ни духом не повинных в нашем разгуле. Короче, творится самая сумасшедшая гусарщина!

Наконец, я вспоминаю, зачем мы приехали, точнее, за кем. Собрали в дорогу корзину с окороком, телятину, жареных рябчиков; ликёры, бальзамы, шампанское из

Тьмутаракани и на заставу. А Майошка придумал в записке о проезжающих подать караульному офицеру, открывающему шлагбаум, вымышленные имена разных народов, производимые от русских корней: «дурень», «болван», «глупец», «скотина»... И сам расписался за себя в официальном журнале: *Скот Чурбанов*. Мало того, что *Чурбанов*, да еще и *Скот* — трижды обыгранное значение слова «скот»: скотина, scotsmen — шотландец (намекая на свое шотландское происхождение) и scotty — злой, взбешенный, яростный. Косте Булгакову пришло на ум превратиться в *маркиза Глупиньона* и так далее. Знакомый караульный читать список не стал.

Наши тройки помчались к Петербургу, пожелав офицеру в полной трезвости и преданности Уставу караульной службы наслаждаться всеми прелестями зимней сторожки, верой и правдой отслужив царю и отечеству вплоть до смены караула, если она не замерзнет по пути!

Да воздастся насмешникам за глумления их над благочинными христианами; да посрамит Господь ёрников и зубоскалов! Посреди дороги — тпру-у!.. — пал коренник в одной из двух троек. Извозчик объявил, что у залетного «родимчик». Надо распрячь и дать отдохнуть. Загнали коня, а может, чего перепугался.

Мы остановились. Глядим: какой-то балаган. Летом — торговля, а зимой — пусто. Рядом торчит пень гнилой. Стали спяну пинать его сапогами. Гнилой, а не поддается. Тогда Майошка срубил его саблей. Раскинули бивуак в балагане. Зажгли фонари, достали припасы, с увлечением их прикончили и решили на прощанье на белых стенах углем увековечить бессмертными стихами свои псевдонимы. Их было десять.

Отпив глоток Совиньона, Юрьев признался, что помнит шесть. На самом деле выяснилось, что четыре. Остальные «выпарились из памяти на горе потомству». Но потомство тоже не лыком шито. Оно восстановило все десять имен.

БАЛАГАН

Гостьми был полон Балаган:
Болт-Болванешти, молдаван,
 Стоял с осанкою воинской;
Болванопуло было грек,
Чурбанов — русский человек;
 Спиной к нему — поляк *Глупиньский*.

Маркиз явился *Глупиньон*,
 Английский умник *Дураксон*,
 Фанариот¹ *Мавроглупато*;
 Фон *Дурдорф*, опалявший дичь,
Придурковатенко, паныч,
 И римлянин *Чудоковатто*.

Все эти десять молодцов,
 Достойные своих отцов,
 Таких же, как они, болванов,
 Боролись за трухлявый пень
 С косою поганок набекрень,
 Но всех обставил *Скот Чурбанов!*

Вот этот-то Балаган и нагрязнул на блины к Её Превосходительству Елизавете Алексеевне Арсеньевой — бабушке русской гвардии. Целый вечер вошедший в роль Костя Булгаков уверял ее, что в самом деле раскопал свою родословную и докопался до того, что дворянский род Булгаковых ведет происхождение от французских маркизов Глупиньонов из Авиньона, Там, в Авиньоне на Ратушной площади установлен памятник Глупиньону Мудрому — самому глупому из Глупиньонов, который лет семьсот тому так объелся блинами, что не смог застегнуть на себе походный ремень

1 Тот, кто принадлежал греческой элите в Османской империи.

и остался ночевать в Авиньоне, тогда как всё войско его выступило в поход против англичан, но заплутало на городских улицах, попало в засаду, устроенную своими же маркитантками у винных погребов, и полегло от выпитого, не дойдя до поля брани.

Подобно Глупиньону Мудрому, Костя, переев, остался ночевать у Майошки, а утром извинялся перед бабушкой за свою недоучтенную принадлежность к дворянскому словию: он не маркиз Глупиньон из Авиньона, а маркиз *де*, конечно, *де* Глупиньон.

2

В январе 1837 года Миша заболел.

Болел он всегда у бабушки, да и жил, в основном, с ней в Петербурге, выезжая на службу в Царское по мере необходимости.

Елизавета Алексеевна, обеспокоенная болезнью внука, всполошилась, принялась измерять температуру Мишеньке, прикладывая губы ко лбу и не упуская случая поцеловать. Когда еще внук-гусар позволит ей такую нежность? Разницу в градусах между 36,6 и выше бабушкины губы чувствовали не хуже термометра. Был срочно вызван доктор. Угадайте — кто? Именно. Личный врач императора лейб-медик Аренд Николай Федорович. Этому человеку было дано на веку наблюдать за здоровьем Николая I, пытаться спасти Пушкина и лечить Лермонтова. Но лечил он не только царскую фамилию, знаменитостей и знать, вроде Столыпиных. Помогал и бедным людям. Бедным — бесплатно.

Пришел. Тщательно вымыл руки с мылом. Окормил, как приходской батюшка, душевным вниманием Елизавету Алексеевну и Мишу. Согласно своей методе, прописал больному тепло, покой, обильное питьё. Утешил, что со временем всё пройдет само. Ничего страшного. И удалился, оставив в полном умилении бабушку, а внуку вернув утраченную веру в человеческую добродетель.

Вскоре, однако, эта вера не то, что пошатнулась, а просто рухнула.

Пронесся слух о гибели Пушкина. Где? На дуэли. С кем? С каким-то французом. Когда? Точно не известно.

Весь Петербург — от простонародного, бодрого, хваткого, включавшегося в работу с раннего утра, до великосветского, лишь ближе к вечеру выбиравшегося из полусонной апатии, смутной дрёмы — пришел в тревожное движение. Не дожидаясь никаких официальных сообщений, люди устремились на Мойку, к дому Волконской, где жили Пушкины. Извозчик с другого края города точно знал, куда ехать по лаконичному адресу: «К Пушкину!»

Правда мешалась с выдумками. Одни говорили — убит наповал. Другие — жив, но ранен.

Одни интересовались: «А царь-то знает?». Другие отвечали: «Не то, что знает, а принимает все меры». — «Какие?» — «Какие положено».

Жуковский выпускал бюллетень о состоянии раненого и вывешивал на улице. Лейб-медик Аренд и доктор Даль дежурили у постели. Но силы жизни не справились с натиском смерти, и через два дня всё было кончено.

Тогда же, если не днем раньше, опережая события, известие достигло и Мишеля. Мы помним, с каким ревнивым скепсисом отзывался он о Пушкине Кате Сушковой; как спорил с каждой пушкинской строкой, предлагая свои версии, продиктованные его мужским эгоизмом и во всем уступавшие наиболее благороднейшему авторскому слову; как сравнивал Пушкина с Баратынским и поставил несравненную элегию «Я вас любил...» ниже несравненной элегии «Нет, обманула вас молва...». Теперь все эти рассуждансы не имели уже никакого значения.

Только было Елизавета Алексеевна успокоилась, обнадеженная визитом Аренда, а тут Мишеньке стало совсем плохо. У него случилось нервное расстройство. Бабушка снова послала за доктором. Николай Федорович поспешил со своей

Миллионной, надолго уединился с Мишей и подробнейшим образом рассказал ему о последних днях и часах Александра Сергеевича. А уходя, настойчиво посоветовал, чтобы Её Превосходительство не отказывало внуку в удвоенной порции валерьяны.

Между тем слухи множились.

Вроде бы император зол на Дантеса. Дантес перепуган. Ему снится, как его порют насмерть четыре казацких нагайки в каменном мешке Петропавловки.

Весь дипломатический корпус встал с пяток на носки, выражая озабоченность судьбой дуэлянта, считая суд над иностранцем недопустимым, влекущим международные осложнения.

Все дамы единодушно на стороне Дантеса. Как мог он — украшение русской гвардии — не принять вызов от уродца и ревнивца, не достойного такой красавицы-жены?

А гвардия ропщет. Гусары рекомендуют Дантеса как французскую бульварную сволочь, патентованную дрянь! Самый миролюбивый из них — Синицын, прозванный великим князем за свое хлебосольство «кормилицей Лукерьей», пообещал, если случится, дать пощечину пришлому жоржику еще и за то, что тот оскорбил русскую честь, назвав Пушкина обыкновенным версификатором, каких в Париже пруд пруди.

Высший свет считает, что в гибели поэта надо винить его самого и никого больше.

Мнение света повлияло и на Елизавету Алексеевну. Не желая потревожить Мишеньку, она аккуратно подбирала слова, когда говорила, что покойный Александр Сергеевич не в свои сани сел, а, севши, не управился со своенравными лошадаками. Вот они его и понесли, вот и помчали и опрокинули...

Спорить с бабушкой Миша не мог. Гневаясь, он только молча кусал ногти, а потом — больной — хлопнул дверью и пропал куда-то на целые сутки...

Как и когда возникает импульс, заставляющий забыть обо всем, схватить любое пишущее, что попадет под руку,

и на любом клочке, как в лихорадке, наметать слова, которые сами рвутся наружу? Сила страсти делает смешными преграды формы. Дыхание властвует над размером. Рифмы безоговорочно подчиняются слуху, повелевающему музыкой речи. Духовные грозы копят годами, а разряжаются мгновенно в любое время года, и зимняя гроза может заставить забыть о летних. Мысли-молнии, образы-молнии пронизывают сознание быстрее, чем пронзенная током рука успевает обуглить грифелем край листа. Кровь стучит в виски, и уже не фривольный сюжет или элегическая печаль владеют обломком карандаша, а ярость, поправшая всякую осмотрительность; ярость смертельно оскорбленного чувства.

Погиб поэт! — невольник чести —
 Пал, оклеветанный молвой,
 С свинцом в груди и жаждой мести,
 Поникнув гордой головой!..
 Не вынесла душа поэта
 Позора мелочных обид,
 Восстал он против мнений света
 Один, как прежде... и убит!
 Убит!.. К чему теперь рыданья,
 Пустых похвал ненужный хор
 И жалкий лепет оправданья?
 Судьбы свершился приговор!
 Не вы ль сперва так злобно гнали
 Его свободный, смелый дар
 И для потехи раздували
 Чуть затаившийся пожар?
 Что ж? веселитесь... Он мучений
 Последних вынести не мог:
 Угас, как светоч, дивный гений,
 Увял торжественный венок.
 Его убийца хладнокровно
 Навел удар... спасенья нет:

Пустое сердце бьется ровно,
 В руке не дрогнул пистолет.
 И что за диво?.. издалека,
 Подобный сотням беглецов,
 На ловлю счастья и чинов
 Заброшен к нам по воле рока;
 Смеясь, он дерзко презирал
 Земли чужой язык и нравы;
 Не мог щадить он нашей славы;
 Не мог понять в сей миг кровавый,
 На что он руку поднимал!..

И после риторических упреков: «зачем?» — «зачем» было Поэту вступать во враждебный к нему свет? «Зачем» подавать руку клеветникам? «Зачем» верить лживым ласкам? — заключительное утверждение:

Замолкли звуки чудных песен,
 Не раздаваться им опять:
 Приют певца угрюм и тесен,
 И на устах его печать.

Остыв, автор уже совершенно спокойно переписал стихотворение набело, оставил без названия и предпослал эпиграф — обращение к императору, в самих стихах нигде не упомянутому:

*Отмщенье, государь, отмщенье!
 Паду к ногам твоим:
 Будь справедлив и накажи убийцу,
 Чтоб казнь его в позднейшие века
 Твой правый суд потомству возвестила,
 Чтоб видели злодеи в ней пример.*

Ротру «Венцеслав»

Завершив, как он думал, дело, Мишель дал прочитать стихотворение надежному другу — Святославу Раевскому, жившему у них в доме. Они дружили с детства. Елизавета Алексеевна была крестной матерью Раевского. Святослав сделал несколько копий для своих приятелей.

И — всё.

На этом не только ничего не закончилось, но именно здесь и началось светопреставление. В считанные дни тысячи людей от руки сделали *десятки тысяч* копий, сами назвали скопированное «На смерть Пушкина» или «Смерть поэта», и копии читал уже весь Петербург, потом вся Москва, потом листки разлетелись по всей России. Ни одно печатное издание, ни одна книга, газетная или журнальная публикации не имели и близко таких тиражей как эти пятьдесят шесть строк, набросанных огрызком карандаша. Лермонтов попал грифелем в самую точку, в самый болевой нерв и вызвал взрыв гражданских страстей. Он дал язык мучительно молчавшим. Немые заговорили языком Лермонтова. Он остро задел тех, кто настаивал на закономерности случившегося, и они разразились возмущенными тирадами.

Елизавета Алексеевна была в ужасе. Она умоляла родных, нельзя ли как-то *исхитить* из обращения Мишинькины стихи? Ей отвечали:

— Да что вы, Ваше Превосходительство? Как их теперь исхитишь? Это все равно, что пытаться вывести из употребления ассигнации государственного казначейства, когда они уже пущены по рукам.

Бабушка не винила в случившемся ни Мишу, ни Раевского, ни переписчиков. Она винила одну себя: «И зачем я только нанимала Мишеньке в наставники Мерзлякова — учить литературе? Хорошие деньги платила. Заслуженный профессор... Вот и выучила на свою голову».

А Михаил впервые в жизни испытал опьянение славой. В двадцать два года он, почти не печатавшийся, прятавший стихи от приятелей, беспечно терявший подлинники,

пускавший их на курево друзьям-однополчанам, вдруг стал известен всей России. Кровь Пушкина вызвала в его душе такой всплеск ярости, что вылитая в слове ярость эта потрясла каждого. Говорили, что в истории русской словесности нечто подобное по воздействию случилось лишь однажды, лет двадцать назад, когда в списках пошла по рукам комедия Грибоедова «Горе от ума». Да, собственно, и «Горе от ума», и «Смерть поэта» никак не уместались в рамках словесности. Они стали явлениями, вызвавшими отклик никем не предвиденный, сопровождавшийся подобием религиозного экстаза. А Мишель на положении больного всё еще сидел дома и даже не мог насладиться плодами своей внезапной славы.

В самый разгар этого триумфа к ним в гости приехал Николай Аркадьевич Столыпин, родной брат Монго, то есть тоже двоюродный Мишин дядюшка. Столыпин — преуспевающий дипломат — служил под началом министра иностранных дел графа Нессельроде и входил в самый высший круг русской аристократии. Узнав от Елизаветы Алексеевны, что Миша болен, Николай Аркадьевич внес в его комнату светские слухи о том, что вдова Пушкина едва ли будет хоть сколько-нибудь блюсти траур по мужу, оно ей вовсе не к лицу... Стихи племянника дядя расхвалил, разделив общее мнение, однако заметил, что Мишель напрасно так накинулся на Дантеса. Как благородный человек, Жорж просто не мог не стреляться после всего, что было между ним и Пушкиным. Его честь обязывала... На это племянник в сердцах возразил, что русский человек никогда бы не поднял руку на своего великого поэта, какую бы обиду тот ему ни нанес. Столыпин продолжал, что как бы то ни было, но судить иностранца наши законы не позволяют. На это Мишель выкрикнул, что законы принимаются теми и для тех, кто под ними таится, но если нет справедливого земного суда, то есть суд Божий. Столыпин рассмеялся, заметив, что у Мишеля расшалились нервы, и перевел разговор на другую

тему, показывая этим, что тема дуэли занимает его лишь постольку, поскольку, а потому исчерпана. Но Майошка уже не слушал. Он снова стал лихорадочно чертить карандашом по бумаге. Взглянув на племянника, Столыпин пошутил в чисто французском духе: «La poesie enfante?» («Поэзия разрешается от бремени?»). И поболтав еще немного, сказал на прощанье:

— Adieu, Michel!

— Вы, сударь, антипод Пушкина, — едва сдерживаясь, ответил племянник. — И я за себя не отвечаю, если вы сию же секунду не выйдите вон!

Николай Аркадьевич кинулся к дверям со словами:

— Mais il est fou a lier! (Да он просто бешеный!).

Так в присутствии Столыпина и в пику ему было написано роковое дополнение к «Смерти поэта».

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Теперь переписчики гонялись за полным вариантом с добавлением этих шестнадцати строк, которые превратили

скорбь и обличение в неслыханный по смелости и хлесткости ювеналов бич. Он поразил всё высшее общество, не тронув разве что царя, но все, проклятые Лермонтовым, служили опорой трона, и царь едва ли мог оставить без внимания такой выпад против своих приближенных.

Тем временем граф Бенкендорф прочел по долгу службы сокращенный вариант стихотворения, вероятно, поморщился, но ничего особенно предосудительного не нашел. Да, Лермонтов обличил Дантеса, но ведь и Николай Павлович посадил француза на гауптвахту за дуэль, поскольку дуэли в России строго запрещены. Дантес нарушил закон.

Все же из осторожности Александр Христофорович, как опытный службист, положил себе посоветоваться с военным министром графом Чернышевым, чтобы в случае чего представить собственное доношение как коллегиальное решение и понести за него коллегиальную, а не персональную, ответственность.

Чернышев высказался в ожидаемом духе: «Оставить без внимания».

Но переданный Бенкендорфу полный вариант (с дополнением) заставил его глубоко задуматься. Он пытался предугадать реакцию государя. «Если тот прочтет и не рассердится, это — одно. А если рассердится? То он рассердится и на меня: куда смотрел? Лучше бы не доносить. А вась, обойдется. А как не обойдется? Спрошу мнение великого князя. Кто у нас шеф гвардии? В конце концов Лермонтов — его подопечный».

Михаил Павлович, прочитав полный вариант, только посмеялся:

— Эка, маленький гусар, — куда махнул! Как расходился! А сам-то он каких кровей? Крестьянских? Или из поповичей? Он же сам принадлежит к высшим дворянским родам. Плоть от плоти. Он и есть «надменный потомок». Ох, и гордец! Возомнил себя обличителем, а собственноручно и отхлестался. Не стоит из мухи делать слона и беспокоить государя таким вздором.

А пока Бенкендорф тратил время на консультации с высшими лицами империи, неизвестный «доброжелатель» прислал без обратного адреса по городской почте в Зимний дворец конверт с надписью «Воззвание к революции». Вместе с утренней почтой конверт был подан императору в Рабочий кабинет.

Слово *революция* Николай спокойно слышать не мог, а тут оно оказалось на его письменном столе.

— Что за дрянь? — спросил он себя, нахмурясь. — Какая «револю?..»

Восстал из кресла. Оказался под собственным парадным портретом в полный рост, висевшим на стене позади стола. Николай Павлович ценил свои парадные портреты: и в золотых доспехах кирасира, опирающегося на саблю с витым эфесом; и в красном мундире лейб-гусара; и вовсе не парадный — с поворотом головы над черным мундиром без орден. Самодержец равно уважал в себе и врожденную величавость, приличествующую монарху столь громадной державы, и умение казаться скромным, не претендующим на постоянное внимание к собственной персоне, которое, пожалуй, и утомляет, будучи чрезмерным. Парадная копия за спиной заметно превосходила оригинал в росте, в сложении, в колорите. Живой император едва возвышался над сапогом императора живописного. Если бы живого посадить в этот сапог, блестящее голенище было бы ему по шейку. Но, Боже упаси, если бы кому-нибудь из подданных пришла в голову такая фантазия! Рассовывать императора по сапогам не догадались бы даже сибирские колодники.

Развернул конверт. Стихи.

Да, нечего скрывать, Николай Павлович питал интерес к поэзии. Но он питал интерес и к порядку. Верней наоборот. Вначале к порядку, а потом к поэзии, как одному из частных проявлений порядка, с ее классически-правильными размерами, с ее благозвучно-точными рифмами. Как там у Пушкина, дай Бог памяти? Неужели забыл? А, вот!

Как весело стихи свои вести
 Под цифрами, в порядке, строй за строем,
 Не позволять им в сторону брести,
 Как войску...

Ну, и так далее... Продолжать не хочется. При чем тут: «как войску»? Так хорошо начал и вдруг: «разбредается по сторонам войско...» Что за картина? Она не соответствует ни нашей военной доктрине, ни эстетическому чувству. Спросить у Жуковского: в чем дело? Как маленький сочинитель, так всему соответствует. Как Божий дар, так держи с ним ухо востро́.

Дочитав вложенное в конверт стихотворение до слов:

И на устах его печать, —

царь посуровел. Несомненно, он зол на Дантеса. Дуэли запрещены категорически, а француз ослушался. Какая ложно понятая гордость, когда два дворянина считают делом чести подставить грудь под пулю один другому! Это недопустимо. Потому дуэлянт, хоть он трижды француз, сидит на гауптвахте и будет выдворен из России. До границы доедет на казенный счет с фельдъегерем, как преступник, а от границы пусть добирается своими средствами. Выкинем в чистом поле и гуляй, как знаешь. Иностранцы дипломаты негодуют. «Это жестоко. Русские законы для русских, а не для иностранцев!» Здесь затрагивается большая политика — царская прерогатива. «Я никому не позволю вмешиваться не в свое дело. В самодержавном государстве политика — дело самодержца, и политик он один. В помощниках не нуждаюсь. Решения принимаю я, а выполняет Нессельроде и его подчиненные. Всё! Если каждый корнет будет вмешиваться в отношения между державами, мы перессоримся со всей Европой. Придется сделать ему внушение, и чтобы прекратил свой стихотворный самотек. Это нарушает установленный порядок. Пусть публикуется в журналах. Если цензура пропустит.

Однако, когда Николай Павлович изучил дополнение («А вы, надменные потомки...»), вопрос об отеческом внушении отпал сам собой. Император помрачнел и вынес окончательный приговор: «Мерзавец! Потомок Столыпиных предаёт собственный круг. Он изменяет своим предкам. Поговорю с Бенкендорфом».

Но Александр Христофорович был уже у дверей. Что-то подсказало ему: надо идти, надо идти!

— Напомните мне, пожалуйста, Ваше Сиятельство, — самым вежливым тоном попросил государь, что не предвещало графу ничего хорошего, — кто у нас начальник тайной полиции? Что-то я запамятовал... Александр Христофорович Бенкендорф или Николай Павлович Романов?

— Виноват, Ваше Величество, — последовал ответ того, кто уже всё понял.

— Почему я получаю важные сведения не от начальника тайной полиции, с которым общаюсь практически ежедневно, а от неизвестного мне патриота (или патриотки)?

— Виноват, Ваше Величество.

— Вам было известно о существовании этих... этих... ну, короче?

— Так точно, Ваше Величество.

— Отчего же вы немедленно мне не доложили? Советовались с Чернышовым? С великим князем?

— Так точно, Ваше Величество.

— Михаил Павлович предан мне безмерно. Я полностью ему доверяю. Но он — большой либерал. Для него всё — вздор, всё — «оставить без внимания».

Так мы дооставляем...

В гвардии нет порядка. Одна поэзия. Господа офицеры месяцами живут на частных квартирах или у родственников в Петербурге, наезжая на службу в Царское, как на воды в Пятигорск.

— Именно так, Ваше Величество.

— Командир Гусарского полка генерал-майор Хомутов, сам отличный служака, покрывает и выгораживает молодых офицеров, выписывая им разрешения на выезд из части не до отъезда, а после возвращения. Разболтались! Я это прекращаю.

— Так точно, Ваше Величество.

— Я издам приказ, запрещающий офицерам гвардии покидать казармы без письменного одобрения командиров. Я покончу с этими самовольными отлучками!

— Так точно, Ваше Величество.

— Теперь по поводу Лермонтова.

Приказываю Леонтию Васильевичу¹ немедленно выехать в Царское и произвести тщательный обыск на квартире корнета. Бумаги опечатать и доставить в Петербург. Лермонтова арестовать, допросить и посадить на Верхнюю гауптвахту Главного штаба. И чтобы никаких визитеров.

— Ваше Величество, наша бабушка...

— Бабушкам не место на гауптвахтах! Так они еще в казармах поселятся, выйдут с пирожками на поле боя...

— Слушаюсь.

— С арестованным не церемониться. Раз в день разрешаю, чтобы камердинер доставлял ему пищу из дома. Срок отбывания ареста корнету назначу позднее. Пусть посидит, подумает хорошенько, напишет объяснительную записку. А как напишет, забрать у него перо и бумагу, чтобы ничего пишущего в камере не было. А то он, чего доброго, Пушкина мне заменит...

— Так точно, Ваше Величество. Разрешите идти?

— Идите, работайте. И не перекладывайте на меня свои служебные обязанности.

— Слушаюсь, Ваше Величество!

¹ Леонтий Васильевич Дубельт — начальник штаба Жандармского корпуса.

3

**Объяснение корнета лейб-гвардии Гусарского полка
Лермонтова**

Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою, — они говорили также, что Пушкин негодный человек, и прочее. Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения.

Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно осуждаемого — зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов. Когда я стал спрашивать: на каких основаниях так громко они восстают против убитого? — мне отвечали, вероятно, чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. — Я удивился; надо мною смеялись. Наконец, после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его (Пушкина — А. С.) прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его (императора — А. С.) поступка с мнением (как меня

уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всем угнетенным; но тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, — некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные, невыгодные для него, слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них назначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредном (как я прежде мыслил и ныне мыслю) для других еще более, чем для себя. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением, — ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. <...>.

Корнет лейб-гвардии Гусарского полка
Михаил Лермантов»¹

Объяснительную записку забрал караул вместе с пером и чернилами. Бумаги нет. А куда денешь свою «молодость и пылкость»? Кому отдашь еще смутное, невнятно бродящее в душе желание откликнуться словом (а не «словами») на всё, что с тобой стряслось? И что это будет за слово? Горькое раскаяние перед государем? Поклон его справедливой, отеческой строгости (в надежде на смягчение участи арестанта)? Благодарные извинения перед дипломатическим корпусом? Четырехстопные клятвы-ямбы в том, что больше ни за что и никогда? Чеканные стансы, рифмующие «славу» и «державу»?..

1 При жизни Лермонтова его фамилия писалась через «а»: Лермантов.

Раз в день с Высочайшего дозволения Андрей приносит от бабушки еду для Михаила Юрьевича. Еда завернута в оберточную бумагу. Барин велел бумаги наворачивать побольше. И спичек, спичек доставить, а то свечки зажигать нечем. Обертка и спички не запрещаются.

Ярость погасла. Страсти улеглись. Возгорелось голубое пламя свечи, словно отъятый от вершинки фитилька, вольно колеблемый листок, подвластный дуновениям, затрепетал над каплей воска в оплывшей лунке. И отодвинулась тьма, и душа раскрылась...

Много позже к письму, посланному Лопухиной, Мишель приложит «стихотворение, которое случайно нашел в ...дорожных бумагах» и единственный раз попробует себя оценить, пусть и парадоксально: «оно мне довольно-таки нравится, раз я совсем забыл о нем», но тут же оговорится: «впрочем, это ровно ничего не доказывает» (дескать, можно и плохое стихотворение забыть, не обязательно забывать только хорошие). Вот оно-то и было написано обгоревшими спичками, почернившими оберточную бумагу на гауптвахте Главного штаба.

МОЛИТВА СТРАННИКА

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
 Пред Твоим образом, ярким сиянием,
 Не о спасении, не перед битвою,
 Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
 За душу странника в мире безродного;
 Но я вручить хочу деву невинную
 Теплой Заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную;
 Дай ей спутников, полных внимания,
 Молодость светлую, старость покойную,
 Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
 В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
 Ты воспринять пошли к ложу печальному
 Лучшего ангела — душу прекрасную.

4

А пока одни подвергались арестам, отбывали наказание на гауптвахтах; пока другие, не снимая шуб, чинили обыски в нетопленных квартирах, опечатывая всё, что можно; пока третьи страдали от невыполнимости исхитить из обращения дополнительные стихи, так усугубившие вину автора, — на квартире у Афанасия Ивановича Синицына собралась теплая компания, обсуждавшая перипетии произошедшего. Петербург был полон слухов, толков, мнений, и все они находили приют в памяти Николая Дмитриевича Юрьева — лермонтовского родственника и владельца его «раритетов». Не сетуйте, если рассказ очевидца в чем-то не совпадет с нашим. Разные люди, хоть и смотрят на одно и то же, а видят разное.

Снова Чубукши-паша предложил гостям на выбор любой из коллекции турецких чубуков: вишня, черешня, олива, хурма. Снова некурящий Бурнашев любезно отказался, а курящий Юрьев окутался дымом, как пасечник на пчельнике, и раскрыл зыблющийся улей новостей.

Якобы Василий Андреевич Жуковский сказал, что в стихотворении Лермонтова виден не намек на талант, а сам талант во всеоружии своего проявления. (Поэты, знаете ли, умеют и в самых горьких стихах найти, кто прелесть выражения, кто музыкальность, кто еще какую характерную тонкость...).

Князь Одоевский назвал Мишино стихотворение явлением замечательным, из ряду вон. Он только сожалел в разговоре с бабушкой, что энергия мысли у Михаила Юрьевича не довольно выдержана, а через это заметна та резкость суждений, какая слишком подчеркивает юный возраст автора.

До катастрофы с прибавленными стихами генерал-лейтенант Шлиппенбах — начальник Школы гвардейских подпрапорщиков говорил Елизавете Алексеевне, что по мнению великого князя: «*Se poete en herbe va donnervva donner de beaux fruits*» («Этот начинающий поэт обещает многое»). А потом, смеясь, шеф гвардии добавил по-русски: «Упеку же я его на гауптвахту, если он мне задумает взводом командовать в стихах!»

Большой свет возмущен тем, что Дантес выставлен у Лермонтова пустым, холодным авантюристом. «Особенно негодуют юбки». Они просто вне себя.

А генерал-майор Хомутов сделал на званом ужине такое предположение, от которого всех покачнуло. Михаил Григорьевич сказал, что, не сиди Дантес под арестом, он вполне мог бы вызвать Мишеля на дуэль за оскорбительные для француза стихи, и Майошка не отказал бы ему в этом удовольствии. Тогда получилось бы, что Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, Лермонтов вступился за Пушкина, и Дантес вызвал Лермонтова. Вы можете себе это представить?.. А вообще-то, зная Майошку, он еще по-божески с Дантесом обошелся, вполне цензурно, а мог бы и покрепче припечатать этого жуира, который только срамил собой Первый кавалерийский полк, в коем числился, и всю гвардию.

А высший свет офранцужен с головы до пят. Он готов выгораживать любого проходимца, если тот имеет французский паспорт.

— Скажите, Николай Дмитриевич, а государь сразу обо всем узнал? — спросил Бурнашев.

— Никак нет. Государь ничего не знал, потому что Бенкендорф, прочитав начальный (сокращенный) вариант, не придал стихам Майошки большого значения, посчитал их ребяческою вспышкой. Но тут на рауте у Фикельмонов к Бенкендорфу подкатывает известная вестовщица:

— Вы, верно, читали, граф, стихи, в которых *la creme de la noblesse* (сливки дворянства) отделаны на чем свет стоит?

— О каких стихах вы говорите, сударыня?

— Да о тех, что написал гусар Лермонтов: «А вы, надменные потомки!..»

То есть ясно, что все мы, *toute l'aristocratie russe* (вся русская аристократия).

После этого Бенкендорф решил представить стихи государю, но в самом успокоительном тоне, дескать, ничего такого... да, один корнет... обиделся, вспылал... Лермонтов... мальчик...

А государь показывает графу конверт, полученный по городской почте, и на конверте гнусная надпись: «Воззвание к революции».

Дело приняло серьезный оборот. Николай Павлович вызвал великого князя, возможно пропесочил, как старший брат, и велел послать в Царское генерала Веймарна учинить обыск на квартире у Майошки. Он давно там не жил, печи не топились, помещение выстудилось. Зима! Генерал делал обыск, не снимая шубы — такой был холод. А руки отогревал дыханием.

Дали знать Мише: пока он в славе купается, жандармы ему всю квартиру разворошили. Майошка набил портфель своей барковщиной и поскакал в Царское к Веймарну. Думал оправдаться тем, что главное его занятие не потомков жучить, а сочинять всякую пахабщину по потребу господам гусарам.

Уехал из дома. Бабушке плохо. Женское воображение, знаете, любую малость раздует, а здесь на самом деле неприятность — да еще какая! Елизавете Алексеевне уже мерещится, что Мишенька ее томится пожизненно в каземате, прикован цепью к стене, и навещать его запрещается... А его сажают на гауптвахту Главного штаба и раз в день разрешают Андрею, камердинеру, приносить разносолы от повара Терентьича. Пока Михаил Юрьевич дегустирует бабушкины передачи и пишет объяснительную, по гвардии отдается строжайшее распоряжение: офицерам за самовольную

отлучку — арест. Командирам, допускающим поблажки — строгий выговор. Никому никаких петербургов. Все сидят по казармам, как бобики. Старики сердятся: «А всё Майошка, мать честная, всё из-за него...».

Наконец, выходит приказ: «Корнета Лермонтова перевести из лейб-гвардии Гусарского полка прапорщиком в Нижегородский драгунский». А это — Кавказ. Война. Дагестан, засады, Чечня. На сборы — сорок восемь часов.

Бабушка кинулась в ноги к Дубельту. Уговорила. Позволили Мише задержаться месяца на два.

— Бедный, жаль мне его, — отозвался Синицын. — Пушкина защищая, влип в историю... А мы чем помочь можем? Ничем.

— И не надо помогать, — заверил Юрьев. — Это бабушке плохо, а ему хорошо. Он — на свободе. Бегает веселый. Говорит: «Еду на Кавказ — за лаврами». Уверен, что храбрость его оправдает, и он вернется назад Героем, а лавры Поэта он уже снискал.

— Интересно, как Мишель выглядит в новой форме? Кушак, шаровары, баранья шапка, шашка через плечо...

— С этой нижегородской формой уже случился славный казус.

— Расскажи.

Юрьев передал чубук казачку и согласился на рассказ при одном условии: после бокала «Совиньона».

Друзья вспомнили «Балаган», гусарский налет на старушку Арсеньеву по ее сугубой просьбе; как ей морочил голову маркиз Глупиньон; трижды чокнулись «За бабушку русской гвардии!», и Юрьев приступил к обещанному анекдоту.

Итак, Майошке надлежало снять гусарский мундир, чтобы переоблачиться в менее эффектную, но своеобразную экипировку драгуна-кавказца. Он сделал заказ портному из магазина офицерских вещей и не торопил его, пока новая форма шилась, продолжая щеголять во всем гусарском. В нем и поехал как-то по магазинам, закупая необходимое перед отъездом на Кавказ. А в отсутствии заказчика

исполнительный портной принес готовую форму и отдал Елизавете Алексеевне. Ну, а следом за портным — гость: Булгаков Костя. Глупиныйон видит новенький — с иголки — костюм нижегородского драгуна: куртку, кушак, хрустящую кожаную портупею, курчавого барашка с огромным козырьком...

— Елизавета Алексеевна, позвольте примерить, пока Миши нет?

— Примеряйте, — и вышла, дабы не смущать переодевающегося мужчину.

Мишель не великан, а Булгаков — просто карапузик. Запутался в шароварах, перекрутил кушак, утонул в шапке. Целую комедию без зрителей разыграл перед зеркалом, пока кое-как обрядился. Рукава длинные, сабля по полу волочится... Но он же природный клоун, ему только этого и надо. И вот клоун представил себя лихим рубакой, грозой горцев. Он — затейливый, со всякими выдумками не хуже майошковых. И мелькает у него блажная мысль выскочить в таком наряде на улицу да проехаться по Питеру на своем лихаче Терёшке. Командует Терентию: «Не лови ворон!» — и мчит в санях на рысаке по Невскому.

Тем временем Майошка выходит из Английского магазина, а навстречу не кто иной, как великий князь Михаил Павлович. Да что ж ты будешь делать?!

— Прапорщик, вы уже не корнет. Так какое же право имеете щеголять в гусарской форме? Где ваша кавказская? О вас приказ... — Михаил Павлович осекся, уловив, что в присутствии этого рифмача и сам заговорил в рифму. а потому сменил форму обращения. — На тебя приказ давно был. Обмундироваться и отбыть по новому месту службы. А ты всё в прежней амуниции по Питеру мотаешься, глаза мозолишь, — и пальцем грозит.

А с Мишеля, как с гуся вода. Или ему впервой начальству очки втирать?

— Ваше Высочество, я не виноват.

— А кто же виноват?

— Портной. Жулик попался. Он меня обманывает. То примерить, то перемерить; где ушить, где припустить... Так и тянет волюнку. Я через портного месяц сижу дома как пришитый. (Каламбурит шельмец!). Старую амуницию носить нельзя, а новая не поспела. Сегодня мне по неотложным делам пришлось выехать со двора.

— Тогда поторопи хорошенько твоего портного. Он, верно, оттого так нерадив, что строчит не швы, а вроде тебя какую-нибудь поэму или оду. Вот и зашивается со сроком, (подхватил Михаил Павлович тёзкино каламбурство). Передай ему, что в таком случае я до него доберусь, пусть не обижается. А тебя чтобы я больше в гусарской форме не встречал.

— Слушаюсь, Ваше Высочество. Сегодня же покажусь в городе кавказцем.

— Сегодня? Значит, экипировка готова?

— Во исполнении воли Вашего Высочества выкажу верноподданнейшее усердие и постараюсь из невозможного сделать возможное!

— Вот за это хвалю, — сказал великий князь и приказал своему кучеру ехать на смотр в Измайловские казармы.

Прокатив по Невскому, кучер за Аничковым мостом свернул на Фонтанку, и только сани подъехали к Чернышеву мосту, как от Садовой наперерез им несутся другие сани, а в них кавказский драгун в полном облачении, лорнирующий окна балетной школы. Между тем Михаил Павлович знает точно, что на весь Петербург сейчас приходится единственный кавказский драгун. Это — Лермонтов.

— Когда же он успел? — изумляется князь. — Не прошло и десяти минут как мы расстались у Английского магазина... — И велит кучеру догнать сани с драгуном.

Куда там! У наших офицеров кони резвей княжеских, уже доказано. За Терёшкой не угонишься и Константина не догонишь. Его рысак двужильный мог бы премии брать на бегах.

Произведя очередной экстраординарный смотр, великий князь подзывает молоденького подпоручика и спрашивает, знает ли он квартиру Лермонтова в доме княгини Шаховской, в Садовой улице.

— Никак нет, Ваше Высочество.

— А квартиру бабушки нашей Арсеньевой знаешь?

— Так точно, Ваше Высочество!

— Так они вместе живут. Поезжай и спроси Лермонтова, как он успел так скоро переодеться в новую кавказскую форму, что, скажи, простился с Его Высочеством у Английского магазина в гусарском мундире, а десять минут не прошло, как мелькнул у Чернышева моста во всем драгунском? Ответ передай мне тотчас в Михайловский дворец.

Представьте, друзья мои, — продолжал Юрьев, — дома бабушка, Майошка, я и Глупиньон. Он только что прикатил, стаскивает с себя Мишкины доспехи. Входит измайловец. Мы хохочем и велим передать Его Высочеству, что разгадка столь скорого переодевания в усердии Лермонтова. Откланявшись Михаилу Павловичу, он помчал, как стрела, к своему нерадивому портному, перепугал его именем великого князя, схватил, что было готово — ну, там баранью шапку, шинель... — и продлил поездку по магазинам уже в драгунской форме!

— Вот это исполнительность. Молодец! — похвалил Майошку великий князь, выслушав донесение подпоручика.

ГЛАВА V

НА ВОДАХ

1

По дороге на Кавказ Мишель сильно простыл, у него разыгрался ревматизм, и военная медицина прописала ему прогреться хорошенько под горячим солнцем у минеральных источников Пятигорска, где уже собралось изысканное общество петербургских франтов, московских барышень и многодетных помещиков из южной России с их женами, не страдавшими отсутствием аппетита. Здесь, у фонтанов и розариев можно было вести ту же самую жизнь, что вели они в Петербурге, Москве или в своих поместьях, только вложенную в декорации кавказской экзотики. Картину внешнего благоденствия, беспечного препровождения времени нарушали разве что бледные и грустные офицеры на костылях, державшиеся друг друга и молча залечивавшие раны, полученные в боях с горцами.

Так начиналась царская ссылка прапорщика Лермонтова в действующую армию — наказание, встревожившее друзей и повергшее в ужас Елизавету Алексеевну. Она представляла себе Мишеньку в кольце вооруженных, свирепых бородачей, талдычащих что-то враждебное на языке, лишенном гласных звуков, наполненном жесткими словостыками, мешаниной шипящих, создающих впечатление сплошных чертыханий,

которые французский язык русского дворянства, равно как и родной язык русских поэтов был не в состоянии ни ощущать, ни проворачивать. Весь Кавказ виделся бабушке непрерывным театром военных действий. Бои шли повсюду. Орудия гремели в каждом ауле. Сабли схлестывались на любом мосту через горную реку. Пули, сощелкивая ветки, летели изо всякой чащобы, куда вовек не заглядывало солнце. И всё это гремело вокруг Мишеньки, схлестывалось над ним и целилось в него. Зная его бесшабашность, его отчаянную храбрость в самые опасные мгновения, когда следовало бы проявлять крайнюю осторожность, Елизавета Алексеевна не сомневалась в том, что какой-нибудь осколок, клинок или пуля его не минуют и только молилась, чтобы рана была не смертельной и позволила государю смилостивиться, а внуку прекратить свои ратные подвиги.

Но и Миша, зная бабушкино сердце, поспешил разуверить ее во всех этих страхах и представить дело так, как оно выглядело в действительности. Он задумал большое письмо, однако отвлекся на неотложные амурные дела, доставлявшие обильную пищу его сочинительству, и, чтобы выгадать время, решил прибегнуть к методу, которой пользовался Бальзак, чрезвычайно ценивший свои рабочие часы. В частные послания Бальзак вкраплял цитаты из уже опубликованных или готовящихся томов «Человеческой комедии», не ставя никаких кавычек («Это же вы раньше написали?» — «Какая разница? Это же я написал!»). Вот и Михаил Юрьевич, набрасывая письмо, мог бы включить в него копии некоторых страниц будущего романа, который он уже сочинял по ходу свершавшихся с ним событий. Скажем, что-нибудь в таком духе:

Милая бабушка!

Прошу Вас, пожалуйста, обо мне не беспокойтесь. Если бы Вы знали, в какую красоту и обустроенность сослан я благотельною волею государя! Да Вы и представляете. Вашими заботами я десяти годов от роду бывал здесь с Вами, так что

Пятигорск равно знаком и Вам, и мне. С тех пор он только похорошел. Минеральные источники содержатся в образцовом порядке. Возле них собирается самое добропорядочное общество из тех, кому назначены разнообразные нарзаны, и тех, кому они не назначены, но кто не может остаться в стороне от того, чтобы вкусить даров природы, отпущенных нам безвозмездно милостию Божией и попечением государя. Дамы принимают целебные ванны. Мужчины попеременно наполняют чаши живительной влагою. В Дворянском собрании даются балы. К нам едет из Одессы некто господин Апфельбаум — фокусник-оптик и химик-акробат. Первый фокус его в том состоит, что никто его здесь не знает, а все билеты раскуплены. Аншлаг. Будет ли по приезде показан второй фокус? Не удовлетворится ли артист успехом первого?

Как только я приехал в Пятигорск, сразу нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками... Внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё. Одним словом, Вы провожали меня на войну, а проводили на воды.

А как милы здешние дамы и как долго милы! Я бы хотел пробыть с ними месяца два и уверен, что их любезности хватит на весь этот срок. Предупредительность отношений, установившихся на курорте, самая похвальная. Поднимаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, толпа

мужчин — статских и военных — никогда не смешается с толпою дам. Дамы пропускаются вперед вне очереди и первыми припадают к животворной струе. Кстати, о влиянии на человека послабляющей кислосерной воды. Оно благотворно лишь в известных дозах. Мне, например, хватает половины оплетенного стакана. По неопытности и подначиваемый курортными аборигенами, я поначалу выпил залпом два стакана. Через непродолжительное время вода произвела во мне такой фурор, такое бурное движение, что я едва успел добежать до дому под безобидный хохот аборигенов. Но дам, естественно, предупреждают заранее, и они защищены от подобных казусов. Рекомендуемые врачами воды несомненно полезны, однако на вкус весьма противны. Они теплые, нехорошо пахнут соединением серы с водородом, не говоря уже про вкус, и оттого есть в них какая-то тошнотность. Я сразу от них отказался и присоединился к тем господам, кто употреблению нарзана предпочитает разговоры о пользе употребления нарзана. Да и вообще никакие целебные источники не могут удержать меня возле своих фонтанчиков, даже окружив самым привлекательным женским обществом.

Нет! Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горечь ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше

похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы¹ и черевики² пригнаны со всевозможной точностью; бешмет³ белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en riçuenique⁴. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии балками, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским.

Вы спросите, бабушка: «А как же война? Её что ли нет? И все разговоры о ней — вздор?». Нет, она есть. Идет так давно, что никто не помнит, когда началась, и не знает, где именно происходит сейчас. То есть у этой войны не существует

1 Чулки шерстяные или из фетра; словообразование аналогичное *рукавицам*.

2 Кожаная обувь.

3 Плотно облегающая одежда со стоячим воротником (прототип гимнастерки).

4 На пикник (*франц.*).

никакого постоянного театра военных действий. Он подвижный. То тут, то там. То вчера, то завтра. А сегодня, слава Богу, всюду тихо. Здесь, кроме мелких вылазок горцев, вся война состоит из экспедиций нашей армии. Когда есть экспедиция в горы, тогда есть и война. Экспедициями командуют генералы по приказу государя. Сейчас приказа нет, и войны нет.

Я как раз хочу воспользоваться затишьем и, воздав благодарение отпустившему меня ревматизму и снисходительности полковых лекарей, объездить малые городки, древние крепости, мирные аулы. Хорошо бы проехаться по Военно-Грузинской дороге из конца в конец: от Владикавказа до Тифлиса. Если случится экспедиция, желал бы своим участием в ней снискать расположение командиров и вернуться домой. Вы, я слышал, много об этом хлопчете. Без экспедиции мне возвращаться не резон. Прощения не будет. Враги мои скажут: «Что это за наказание такое — минеральные воды? Он совершил проступок. Государь его осудил и сражаться послал, искупить вину отвагой, а не купаться в пятигорских купелях. Чем он провинность свою загладил? Массажам турецких банщиков?» Но и долго сидеть на Кавказе я не намерен. Моя мечта — заслужить полное всемилостивейшее прощение, выйти в отставку, приехать к Вам в Тарханы и посвятить себя сочинительству.

Прощайте, милая бабушка, прошу Вашего благословения, целую Ваши ручки и остаюсь покорный внук.

М. Лермонтов.

2

Наконец, случай отличиться представился. Мишель уезжал из Пятигорска в экспедицию. Тем временем в городе проходило курс водолечения приехавшее из Москвы семейство Мартыновых: отец, мать, дочери. Их всех Мишель хорошо знал, бывал у них дома в Москве, очень не нравился матери, но пользовался успехом у дочерей. В Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров он учился вместе

с Николаем Соломоновичем Мартыновым — весьма интересным и достойным молодым человеком, которому тогда же, в Школе, дал прозвище, незатейливо произведенное от фамилии, никак не вяжущееся с оригиналом, по грамматике уменьшительно-ласкательное, а по образу детски-обидное: Мартышка. Звуковым диссонансом Мишель как бы уравнивал Мартынова с собой: Мартышка и Майошка, а по смыслу ставил ниже себя: все-таки Мишка-косолапый звучит и выглядит как-то симпатичней, внушительней, чем обезьянка, надоевшая всем своими гримасами. Едва ли такое прозвище пришлось Мартынову по вкусу (тем более его маме), но сцен из-за этого он не устраивал.

Майор Мартынов уехал на Кавказ волонтером, тогда как прапорщик Лермонтов был сослан. Разница между майором-добровольцем и сосланным младшим офицером возникала заметная, однако она никак не подчеркивалась Мартыновыми. Для них Лермонтов оставался другом их любимого сына и брата. Поэтому, узнав, что Мишель едет в экспедицию, где уже находится Николай, сестры поручили отъезжающему, именно из полного доверия к нему, что называется, не в службу, а в дружбу, семейную почту: пакет с письмами и девичьем дневником, тогда как отец, не афишируя, вложил в пакет триста рублей, о чем «почтальон» не знал. Пакет запечатали, «дилижанс» тронулся в путь.

Однако по дороге бесенок любопытства стал щеко-тать «почтальона»: а что пишут сестры в своем дневнике? А в письмах? А что сообщает мать? Наверняка что-нибудь и о нем. Борьба между носом, засунутым в чужую почту, и чувством долга была короткой. Любопытство взяло верх над этикой. Майошка распечатал пакет. Там, помимо писем и дневника, обнаружили триста рублей. Деньги писателя не интересовали. Его интересовали письма и дневниковые записи. Грех «взламывания» посторонней почты Михаил мог бы смягчить тем, что, ознакомившись с нею, возвратил бы ее на место и попросил прощения за содеянное у Николая:

дескать, виноват! Бес попутал. Но Мишель «взламывал» не для того, чтобы возвращать и каяться, а для того, чтобы украсть и скрыть. По тому «кодексу чести», который он исповедовал, воровать деньги было недопустимо, а «заимствовать» дневники, письма и прочие материалы для собственной работы — сколько угодно. Согласно своему скользкому учению, которое мы назвали бы «Теорией стертых границ», Лермонтов не признавал рубежей между жизнью и творчеством. Он манипулировал жизнью — прежде всего своей, но также охотно интересами друзей и близких — во имя творчества (хищение мартыновской почты), а литературным дарованием — во имя жизненных нужд, скажем, сомнительной славы (унижение до барковщины на потребу восприимчивых к ней господ гусаров). И все вроде бы сходило ему с рук. Однако в случае Мартыновых аморальность «Теории стертых границ» оказалась практически разоблаченной. Нельзя безнаказанно нарушать этические нормы, хотя бы на благо самым дерзким творческим порывам. Если воздастся должное дерзаниям, то воздастся оно и презревшему свой долг «почтальону».

Встретившись с Мартыновым, Мишель не без присущего ему артистического блеска разыграл легенду о дорожном ограблении. Якобы в пути на него напали горцы (что выглядело вполне правдоподобно) и украли его чемодан с пакетом для Николая. К совершенному им воровству дневника и писем Майошка добавил враньё про чемодан и поклёп на горцев. А вот триста рублей аккуратно передал товарищу, выдав их за свои. То есть деньги якобы тоже украли, но Михаил Юрьевич, как честный офицер, компенсирует пропажу из личных средств. Опять враньё. Какие «личные средства», когда это деньги Мартынова-Старшего, переданные для сына? А сын отказывается их брать, думая, что это деньги Майошки. («С какой стати ты должен расплачиваться за грабителей?»). Но Мишель неумолим в своем благородстве и вручает Мартынову-Младшему деньги его отца до последней копейки.

Об этом похвальном поступке товарища по оружию Николай Соломонович умолчать не может и докладывает в письме старику Соломону: «Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письмо, так же пропали, но он... отдал мне свои».

Получив такие сведения от сына, Мартынов-Старший испытывает крайнее удивление по поводу ситуации с деньгами. Как Лермонтов мог узнать о вложенных в пакет трехстах рублях, если никто ему об этом не говорил, а пакет прапорщику передали в запечатанном виде? Когда бы чемодан действительно украли, Мишель не должен был бы знать, что с чемоданом пропали и деньги. А он знает. Откуда? Тогда спрашивается: кто же украл чемодан: горцы у «почтальона» или «почтальон» сам у себя?

Мать пишет Николаю, имея в виду случившееся: «Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много: твои сестры целый день писали их; я, кажется, сказала: “при сей верной оказии”. После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по почте; по крайней мере остается уверенность, что тебя не прочтут».

Одним словом, Мартыновы заподозрили Лермонтова в шельмовстве, но хода своим подозрениям не дали. Более того, они, если не оправдывали, то по крайней мере «объясняли» его неблаговидный поступок тем, что, раз он отдал деньги, то, значит, никакой корыстной цели не преследовал, а проявил лишь чрезмерное любопытство, полагая, что пишут и о нем тоже. А поскольку написанное о нем не вполне могло польстить его самолюбию, то он и придумал историю с ограблением. Эту историю потом он воплотит на страницах «Героя нашего времени», обнаружив свою корысть не в деньгах, а в сюжетах. Так «Теория стертых границ», торжествуя на литературной ниве, оставила в семье Мартыновых самый скверный осадок.

3

А Мишель продолжал поездку по Северному Кавказу и Грузии, числясь на службе и набирая сугубо за казенный счет впечатления для романа. Это называлось: «Я вояжировал». По-другому это можно было бы назвать и так: офицер ездит, служба идет.

В письме Святославу Раевскому приведены некоторые детали «вояжирования» ссыльного прапорщика.

«С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании — то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить, — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную: пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь...

Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирной, разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого

удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь...».

Если Кавказская война переживала временное затишье, то в Петербурге Елизавета Алексеевна развернула самую кипучую деятельность по вызволению внука с Кавказа. К празднику Святой Пасхи 1838 года по представлению генерал-адъютанта Адлерберга, начальника Штаба генерал-адъютанта Веймарна, генерал-адъютанта графа Бенкендорфа, Его Высочества великого князя генерал-фельдцейхмейстера Михаила, военного министра генерал-адъютанта графа Чернышева, вошедших в положение вдовы поручика Арсеньева (а ей уже 80 лет), которая лишена возможности «внушать своему внуку правила чистой нравственности и преданности Монарху»... «принимая живейшее участие в просьбе этой доброй и почтенной старушки и душевно желая содействовать к доставлению ей в престарелых летах сего великого утешения и счастья видеть при себе единственного внука своего», Государь император подписал Всемиловнейшее совершенное прощение корнету Лермонтову и перевел его в лейб-гвардии Гусарский полк, то есть в Царское Село, а на самом деле в Петербург, откуда началась кавказская ссылка... Судьба вернулась на круги своя.

Исполнилась первая мечта осужденного: он был прощен. Более того, он возвращался в Петербург, увенчанный лаврами Поэта и овейный славою Воина.

Правда, оставалась не исполненной вторая мечта — отставка. В отрочестве Мишенька хотел поступить на военную службу, однако бабушка воспротивилась («...лишь бы не был военным»). Волею судьбы, а не своей волею, он им стал, но теперь, когда главным его желанием сделалась отставка, снова воспротивилась бабушка («...лишь бы не был сочинителем» — так она могла бы изменить свое отношение к Мишиной карьере). Сколько сил положила она на то, чтобы

вытащить внука с Кавказа, уберечь от войны! Каких людей подняла — весь высший генералитет армии и гвардии! Какие возможности открыла Мише для служебного роста, для того чтобы выйти в большие генералы! И что же? Всё это бросить? Двадцати четырех лет выйти не то что в генералы, а в отставку? Сесть перед окошком в деревне и сочинять стихотворения, про которые она говорила: «Миша, стихи твои перечла десять раз. Бесподобно! Миша, всё, что до тебя касается, я равнодушна». А если опять что-нибудь не то напишет? Зная его гневливость... Никому тогда несдобровать. И себя погубит, и людей подведет и меня на тот свет отправит. Нет, Миша! Слушай бабуку. Она тебе худого не пожелает. Служи честно. Чти государя. Через способности свои до генерала дослужишься. А генералу везде почет. За генерала, и девица всякая пойдет и почтенная дама. А что сочинитель? Пух один на вольном воздухе. Уж на что сочинитель был Александр Сергеевич — дай Бог всякому! — а ушел, бедный, весь в долгах. Государь за него и погашал... Не хочу такого для тебя.

И Миша не осмелился перечить бабушкиной преданности, бабушкиной твердости. И он возвращается в гвардию, в царскосельские пределы, в Петербург, но возвращается на белом коне Героя и Поэта, ощущая в себе гудящую тягу набирающего силу творческого огня.

ГЛАВА VI

МЦЫРИ

1

Как из ничего возникает нечто такое, чего никогда не было и не будет? Почему людей на свете не счесть, поколения прокатываются, как волны, а это нечто возникло именно в твоём сознании и больше ни в чём? Откуда оно взялось? Кем, сохранившем свое инкогнито, вселено в тебя? И насколько обманчива дерзкая мысль, что это ты и есть творец того самого нечто; ты, заставивший заговорить монастырские камни; ты, снявший печать безмолвия с гор и долин; давший язык цветам и птицам, летнему зною и ночной грозе — и это язык только твой, прежде неведомый никому из людей, а теперь узнаваемый всеми?

Оставим в покое неразрешимое. Смирим гордыню всезнайства, внушающего нам иллюзию могущества. Просто согласимся с тем, что лучшее дается нам даром, а как, почему, откуда, кем и насколько — не нашего ума дело. Дар ничего не стоит, и потому он бесценен, тогда как всё остальное — не дарованное — вяжет кровь, утомляет разум, выпадает из памяти, требует невероятных усилий для своего постижения, оценивается конечными суммами, нервными тратами и подлежит резонным разгадкам.

Безотчетный отклик поэта на событие внешнего мира может быть мгновенным, если событие чрезвычайное, а весь

арсенал художественных средств наготове. Лермонтов отозвался на смерть Пушкина день в день. Но если речь идет о вопросах мирочувствования, принадлежащих сугубо внутренним состояниям духа; если автор еще не вполне овладел течением мысли, тонет в потоке переживаний, позволяет хромать стихотворной технике, то торопливый отклик не сулит ничего иного, кроме неудачи. Природу не обманешь. А природа творчества такова, что перво-наперво требует «позабыть» о том, что тебя когда-то особенно встревожило. Здесь «позабыть» означает лишь дать укрыться в недрах памяти и ничем себя не выдавать. То есть первый творческий момент: забвение. Его продолжительность не подлежит ни контролю, ни обсуждению. Оно может длиться месяцы, годы, десятилетия. Чем дольше, тем лучше. И не надо жалеть, если что-то так и не успелось. Раз не успелось, значит, и не должно было успеться. Не уготовилось для того. А торопить события бесполезно. Творчество не терпит никакого насилия над собой. Ни понуканий, ни торможений. Оно — дитя внутренней свободы, а посягательства на свободу — ни изнутри, ни снаружи — не проходят безнаказанно.

Напрасно думать, что «забвение» — зря потраченное время. Напротив. В недрах «забвения» идет напряженная, подсознательная работа по обогащению «забытого» иными смыслами, сравнениями, противоположениями, тайными догадками. В недрах «забвения» долго, иногда десятилетиями зреют золотые крупички истины. Зато, когда «вулкан заговорит», его «извержение» произойдет в считанные дни, если ни часы, если ни минуты... И это — «завывавшее» будет относиться уже не к пересказу новостной ленты, не к божбе очевидцев, что они-то помнят как всё было «на самом деле», не к высокомерному авторитету исторического документа, а к самой достоверной из всех возможных правд на земле — к правде художественного вымысла.

Семнадцатилетний Лермонтов пометил на страничке дневника: «Написать записки молодого монаха 17-ти лет.

С детства он в монастыре, кроме священных книг, ничего не читал. Страстная дума таится — Идеалы».

В свое время чистый мечтатель, юный стихотворец попробовал воплотить эту тему в поэме «Исповедь».

День гас в наряде голубом,
Крутясь, бежал Гвадалквивир...

Солнце «текло» над «каким-то миром», «Но в монастырскую тюрьму» его «Игривый луч не проникал». Темница томила некоего «молодого Испанца». Вообще Испанца. Уроженца знойной Испании, полной зла. Зачем он сидит и за что осужден на казнь — решительно никто не знает. Включая самого Испанца и не исключая самого автора. Узник обвинен в преступлении, а в каком — неизвестно. К Испанцу приходит «Старец дряхлый и седой». Кто он? Если и тюремщик, то исполненный «сожаления и привета». Скоро выясняется, что автору Старец нужен только для того, чтобы Испанец излил перед ним душу... Другого назначения у Старца нет. Автор его с Испанцем даже не рифмует.

Всё не то.

Какой Гвадалквивир? (Пушкинский? «Шумит, бежит...»). Откуда Испания? (От герцога Лерма?). Почему она исполнена зла? Что за Испанец? Как он попал в монастырь? Кем гоним? Нет ответов. А если и есть, то это наши догадки, которые ни в чем не убеждают, кроме того, что нас развели на Мишенькины выдумки. Потому что не уготовилось, не успелось. Потому что вся декорация нагрожена лишь для исповеди Испанца, притом что в самой исповеди есть строки куда более достойные обрамляющей их разгородки.

Автор это понимает. Получилась произвольная фантазии с искрами сути, а полноценной художественной правды не получилось. Она откладывается.

Проходят годы.

Та же тема «плена и свободы», исполненная тем же романтическим пафосом со многими дословно сохраненными фрагментами перекочевывает из «Исповеди» в поэму «Боярин Орша».

Во время оно жил да был
В Москве боярин Михаил
Прозваньем Орша...

Михаил уезжает из Москвы к себе на родину. Теперь место действия — Днепр, русско-литовская граница. Эпоха Иоанна Грозного. Уже не испанское, а русское Средневековье.

И снова автор в замешательстве. Что-то ему мешает, что-то не устраивает. Так, да не так! Герой обеих поэм — он. Путая карты, он дал свое имя Орше, хотя сам — прототип некоего Арсения... Но время не его. Но обстоятельства чуждые!..

И проходят годы еще.

Путешествуя Военно-Грузинской дорогой, во Мцхете, неподалеку от Тифлиса, у развалин древнего монастыря прапорщик Лермонтов случайно встречает (хочется сказать: *обретает*) одинокого монаха, по-грузински *бэри*. Он — последний, кто остался в заброшенной обители. Бэри рассказывает незнакомому офицеру, как мальчиком попал в русский плен и его возил с собой генерал. (Это был главнокомандующий русскими войсками на Кавказе Алексей Петрович Ермолов.) В поездке мальчик заболел, и генерал оставил его в монастыре на попечение монахам. Мальчик рос, а тоска по дому не отпускала. Не раз пытался он бежать из монастыря, но в конце концов смирился со своей участью; будучи мусульманином, крестился в христианскую веру, принял постриг и стал *бэри*.

Эта встреча поэта с монахом решила дело.

Все сопутствующие обстоятельства исповеди, к которой Мишель был внутренне готов, полностью определились и сошлись в одной географической точке, оправданной подлинностью

человеческой судьбы, судьбы случайно встреченного бэри. И эту точку гений места проставил вовсе не в Испании, на берегу Гвадалквивира; не на русско-литовской границе, на берегу Днепра; а в Грузии, на слиянии Куры и Арагвы.

Путь к художественной правде был открыт.

Вначале будущее сочинение автор предполагал озаглавить «Бэри» с благодарностью старому сторожу, рассказавшему историю своей жизни, но по размышлении изменил название на «Мцыри» (послушник) в честь героя поэмы, который в отличии от жизненной правды, но во славу правды художественной, думает не о постриге, но о смерти. К тому же грузинское «мцыри» имеет и второе значение: «чужестранец, бродяга», а таковым был как герой поэмы, так и его духовный брат — русский офицер, странствующий по Грузии. Так что имя «Мцыри» многократно усиливало ассоциативный ряд. Теперь подготовлено было всё вплоть до написанных прежде фрагментов. Оставалось создать целостную поэму. А для этого снова требовалось ждать. И ждать неопределенно долго. Ждать, пока раскроется и заговорит душа. Это случится уже в Царском Селе по возвращении автора с Кавказа в расположение Гусарского полка.

2

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...

Проникнемся тем, насколько сказанное не похоже на день, гаснувший «в голубом наряде» и на «крутящийся Гвадалквивир». Сохранен только стихотворный размер.

После двух описательных главок, коротко и ясно обрисовавших предысторию мцыри, следует его предсмертный монолог, начатый чисто лермонтовским сарказмом:

Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать,

Как будто пользу приносит лишь знание злых дел, а знание о добре бесполезно.

А далее следует почти сорокаминутный монолог, адресованный старому монаху; монолог, испепеленный «одной — но пламенной страстью»: мучительной жаждой свободы.

О, свобода, по Лермонтову, вовсе не есть «осознанная необходимость», как учили нас немецкие идеалисты. В таком случае мцыри вечно пребывал бы в стенах обители, «осознавая», что иначе никак нельзя. Нет, «осознание» чуждо лермонтовской свободе, а «необходимость» прямо ей враждебна. Плен не может быть ни понят, ни принят. Рабство — казарменное ли, монастырское ли — гнетет, когда оно навязано со стороны, а не есть твой добровольный выбор. Лермонтов-мцыри — это послушник не покорный, а мятежный; не соглашатель, а бунтарь, отвергающий принудительную необходимость монастырского плена. Его пламенная страсть зовет его

От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.

И мцыри бежит от послушания, от братии, от старика бэри, от Бога как «осознанной необходимости». Сердце его открыто стихиям, а не заклинаниям о том, чтобы они миновали.

И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,

Я убежал. О, я как брат
 Обняться с бурей был бы рад!
 Глазами тучи я следил,
 Рукою молнию ловил...
 Скажи мне, что среди этих стен
 Могли бы дать вы мне взамен
 Той дружбы краткой, но живой,
 Меж бурным сердцем и грозой?

А когда буря улеглась, природа ожила, что увидел мцыри
 вокруг себя, а главное — как выразил Лермонтов это уви-
 денное в слове?

Кругом меня цвел божий сад;
 Растений радужный наряд
 Хранил следы небесных слез,
 И кудри виноградных лоз
 Вились, красуясь меж дерёв
 Прозрачной зеленью листов;
 И грозды полные на них,
 Серег подобье дорогих,
 Висели пышно, и порой
 К ним птиц летал пугливый рой
 <...>
 В то утро был небесный свод
 Так чист, что ангела полет
 Прилежный взор следить бы мог;
 Он так прозрачно был глубок,
 Так полон ровной синевой!
 Я в нем глазами и душой
 Тонул...

Жажда заставляет мцыри спуститься к реке, где он видит,
 как

Держа кувшин над головой,
 Грузинка узкою тропой
 Сходила к берегу. Порой
 Она скользила меж камней,
 Смеясь неловкости своей.
 И беден был ее наряд;
 И шла она легко, назад
 Изгибы длинные чадры
 Откинув. Летние жары
 Покрыли тенью золотой
 Лицо и грудь ее; и зной
 Дышал от уст ее и щек.
 И мрак очей был так глубок,
 Так полон тайнами любви,
 Что думы пылкие мои
 Смутились. Помню только я
 Кувшина звон, — когда струя
 Вливалась медленно в него,
 И шорох...

Запомним и мы неувядающую живописность портрета грузинки. Обратим внимание на тот не названный, но подразумеваемый изгиб ее стана вместе с изгибом чадры.

А ночью на лесной поляне мцыри вступает в битву с барсом, и спустя почти двести лет в семидесяти ее строках нельзя подвинуть ни одну запятую. Этот бой увиден внутренним оком абсолютно раскованного и потому предельно сосредоточенного воображения, не знающего никакой иной необходимости, кроме необходимости творческой воли.

Я пламенел, визжал, как он;
 Как будто сам я был рожден
 В семействе барсов и волков
 Под свежим пологом лесов.

Казалось, что слова людей
 Забыл я — и в груди моей
 Родился тот ужасный крик,
 Как будто с детства мой язык
 К иному звуку не привык...
 Но враг мой стал изнемогать,
 Метаться, медленней дышать,
 Сдавил меня в последний раз...
 Зрачки его недвижных глаз
 Блеснули грозно — и потом
 Закрылись тихо вечным сном;
 Но с торжествующим врагом
 Он встретил смерть лицо к лицу,
 Как в битве следует бойцу!..

Мцыри заблудился в горах. Его мучит голод. Его палит
 зной. Он хочет услышать «ребячий лепет ручья», а вместо
 этого безупречным взором эстета и стилиста видит сухую
 змейку, то вытягивающуюся на песке во всю свою плоскую
 длину, как сабля с драгоценным узором по лезвию; то мгновенно
 свивающуюся в три кольца.

...змея

Сухим бурьяном шелестя,
 Сверкая желтою спиной,
 Как будто надписью золотой
 Покрытый донизу клинок,
 Браздя рассыпчатый песок.
 Скользила бережно, потом,
 Играя, нежася на нем,
 Тройным свивалася кольцом;
 То, будто вдруг обожжена,
 Металась, прыгала она
 И в дальних пряталась кустах...

Наконец, мцыри, лишенный сил, представляет себя на дне глубокой реки с играющей над ним стайкой рыбок.

И помню я одну из них:
 Она приветливей других
 Ко мне ласкалась. Чешуей
 Была покрыта золотой
 Ее спина. Она вилась
 Над головой моей не раз,
 И взор ее зеленых глаз
 Был грустно нежен и глубок...
 И надивиться я не мог:
 Ее серебристый голосок
 Мне речи странные шептал,
 И пел, и снова замолкал.
 Он говорил:

Услышим этот голосок, волшебнo меняющий мелодию
 (и графику) строф.

Он говорил: «Дитя мое,
 Останься здесь со мной:
 В воде привольное житье
 И холод, и покой.

Я созову моих сестер!
 Мы пляской круговой
 Развеселим туманный взор
 И дух усталый твой.

Усни! постель твоя мягка,
 Прозрачен твой покров.
 Пройдут года, пройдут века
 Под говор чудных снов.

О милый мой, не утаю,
 Что я тебя люблю,
 Люблю как вольную струю,
 Люблю как жизнь мою...»

Чернецы нашли обессиленного послушника вблизи монастыря, принесли в обитель. К монаху — святому отцу — обратил последние слова возвращенный и вновь заточенный в свою темницу мцыри, едва познавший «блаженство вольности». Он-мцыри и он-Лермонтов готовы простить судьбу, которая принесла им столько зла; готовы простить людей, доставивших каждому столько горя, и уйти из жизни с миром, если... Если друг или брат, склонившись над ним-послушником, над ним-поэтом, передаст ему привет от милой родины или если что-нибудь хотя бы даст им повод надеяться, будто этот привет возможен...

Когда я стану умирать,
 И, верь, тебе не долго ждать,
 Ты перенести меня вели
 В наш сад, в то место, где цвели
 Акаций белых два куста...
 Трава меж ними так густа,
 И свежий воздух так душист,
 И так прозрачно-золотист
 Играющий на солнце лист!
 Там положить вели меня.
 Сияньем голубого дня
 Упьюся я в последний раз.
 Оттуда виден и Кавказ!
 Быть может, он с своих высот
 Привет прощальный мне пришлет,
 Пришлет с прохладным ветерком...
 И близ меня перед концом
 Родной опять раздастся звук!

И стану думать я, что друг
 Иль брат, склонившись надо мной,
 Отер внимательной рукой
 С лица кончины хладный пот
 И что вполголоса поет
 Он мне про милую страну...
 И с этой мыслью я засну,
 И никого не прокляну!..

Сказано: в обители у Господа палат много. И путей к этой обители не счесть. Очевиден путь святого монаха, аскета, ищущего личное спасение души от грехов мира. Атрибуты монашеского спасения — пост и молитва. Но Мцыри отверг этот путь. Он — не его. Замкнутость в каменной келье перед мерцающим в темноте иконостасом, постоянное сосредоточение на высокой скорби гонимого миром Спасителя — такой подвиг смирения послушнику не доступен. Он — молод. Его влечет разноцветье и многоголосье Божьего мира, а не печальное сознание бренности всего земного. Посту и молитве он-мцыри предпочел мятеж, побег и свободу. Посту и молитве он-Лермонтов предпочел преобразование бытия в творческий отклик — отклик художника на чудо Творения. Святой монах (бэри) пытается спасти себя, а не мир. Заточенный в монастырских стенах мцыри, мечтает освободиться из плена. Он хочет *жить* в миру, а не спасать его. Грешный поэт пытается спасти мир, а не себя. Спасая себя, монах укрепляет свою душу. Даруя прекрасное миру, поэт расходует свою душу, испытывает ее, не бережет. Монах, затворяясь от соблазнов мира, строит себя. Поэт, строя в своем воображении мир, исполненный демонических соблазнов и Божественной красоты, разрушает себя. Это два не схожих служения, имеющих общую мистическую основу. Это два противоположных подвига богосыновства: подвиг молитвенного послушания и подвиг молитвенного дерзновения. Много палат в обители Господа, и путей к ним не счесть.

ГЛАВА VII

«МНЕ ГРУСТНО, ПОТОМУ ЧТО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ...»

1

Молодым героем Кавказской войны в глазах еще более молодых гусар вернулся Мишель в свой полк и поселился вместе с Монго-Столыпиным на углу Большой и Манежной улиц всё того же Царского Села. К дяде и племяннику, как в улей, слеталось пчелиное гусарское воинство попить хмельного «медку», покутить, позудеть, побалагурить, поточить затупившиеся хоботки, послушать анекдоты от Майошки: французские по-французски, хохлацкие по-хохлацки, майошские по-майошки. Ни жажды гульбы, ни отвращения к шагистике, ни задушевного — в подпитии — товарищества полк не утратил. Новому командиру-педанту, сменившему любимого всеми генерала Хомутова, отпор дали дружный. Так что великий князь Михаил Павлович — один из тех, кто ходатайствовал перед императором о прощении Лермонтова, мог бы воскликнуть: «Ну, зачем, зачем я это делал?! Сидел бы сейчас баламут в драгунах на Кавказе, и мне никаких хлопот: драгуны — не моя епархия. Моя епархия — гусары. А он приехал сбивать их с панталыку. Мало мне Кости Булгакова; нет, теперь ему подкрепление прибыло: Монго и Майошка. Они у меня достукаются. Я разорю их осиное гнездо. Я напушу

такого дыму, что выкурю их из дому на угол Большой и Манежной! Будут знать, как подговаривать товарищей к шалостям и непослушанию».

Но снижение гусарского статуса в устах великого князя с почтенного пчелиного до презренного язвительной осы ничуть усачей не напугало. Майошка, как и перед Кавказом, снова принялся охотно трунить над Михаилом Павловичем, как будто ему, Майошке, минута добродушной потехи над шефом гвардии была дороже трех суток гауптвахты. И он, Майошка, являлся на развод караула в присутствии великого князя, отстегнув от ремня длинную саблю — табельное оружие гусара и прицепив какой-то дитячий недомерок: полусабельку-полукортик. Главное удовольствие шалуна составляла смена чувств на лице патрона при виде этой вопиющей насмешки над «Уставом караульной службы».

«Трое суток гауптвахты!»

Отсидел. Вышел.

А там, глядишь, и славный бал подоспел в ротонде китайской деревни, где царскосельские красавицы чествовали офицеров гвардейских полков — лейб-гусаров и кирасир. Какими конкретно узорами на радость дамам Майошка украсил воротник и обшлага вицмундира — неизвестно, но доподлинно известно, что «за неформенное шитье» великий князь отправил шутника под арест прямо с праздника.

Отсидел. Вышел.

Кто знает, чем занимался он на своих бесконечных отсидах, где делать бравому гусару было до боли нечего, но только главный петербургский журнал «Отечественные записки» стал подозрительно часто публиковать стихи некоего поэта Лермонтова: в каждом номере. А господин Краевский — почтенный редактор, солидный издатель мог бы рассказать добрейшему Афанасию Ивановичу Синицыну, как сорвавшийся прямо с «губы» офицер в распахнутой шинели, гремя саблей, влетает в редакторский кабинет ученого-аккуратиста, разложившего всё по полочкам: книги, журналы в порядке очередности,

газетные подшивки... короче, этот дерзкий школяр, которого обучили всем наукам, кроме правил хорошего тона — непременно в свете науки этикета, вторгается в святая святых умудренного медиума, погрузившего взор в корректуры, как алхимик в манускрипт о закипающих ртутью ретортах, и за секунду всё опрокидывает, переворачивает вверх дном, превращает кабинет в полный бедлам, раскидав и перепутав всё, что можно, вернее — нельзя! — устроив кутерьму на полках, на столах, сбросив на пол вёрстки, сверки, и как апофеоз бьющего через край наслаждения жизнью роняет вместе со стулом самого издателя, уже барахтающегося под столами среди своих бумаг!

Всё терпел господин Краевский ради будущего величия русской литературы, только приговаривал:

— Ну, полно, полно... эка ты расшалился... Перестань, братец, перестань... прошу... Угомонись. Экой школьник...

— Да, — ответил бы Афанасий Иванович. — Это — он. Узнаю.

Но служба службой, стихи стихами, а все свободное время Мишель проводит в Петербурге, и там от славы ему никуда не укрыться.

Свет взволнован. Свет в предвкушении.

Государь Всемиловивейше простил осужденного и вернул с гибельного Кавказа в блестящий Петербург. (Это — сигнал.)

Царским приказом повелевается «...всем Нашим подданным оного Михаила Лермонтова за Нашего поручика Гвардии надлежащим образом признавать и почитать...» (Это — сигнал.)

«Отечественные записки» печатают его стихотворения, не дав просохнуть чернилам на рукописях, а литературные авторитеты сулят Лермонтову большое будущее. (И это — сигнал.)

Говорят, что пока, да, он уступает Пушкину. Но с кем его сравнивают? Только с Пушкиным! Некоторые считают, что по каким-то статьям он уже превосходит первого поэта.

«Успокойтесь, — возражают другие. — Пушкин куда начитанней. А потом у Пушкина каждый замысел рождается

сразу. Дальше он его только шлифует и шлифует до зеркального блеска. А Лермонтов замыслы меняет на ходу. Вместо Испании Русь, вместо Руси Грузия; был Гвадалquivир, стал Днепр; нет, снова не годится, давай Арагву с Курой... Пушкин работает массивами стихов, закрепленными за конкретным сочинением, а Лермонтов — небольшими заготовками, сделанными заранее, которые можно целиком переносить из одного сочинения в другое — настолько они обобщены, привязаны не к реальности, а к идеям и душевным состояниям».

«Как это Лермонтов не начитан? — удивляются третьи. — Да он шпарит всего Гёте наизусть, Байрона наизусть — и всё на языках подлинников. А его собственные стихи? Это же родниковая вода в хрустале!».

«Что касается таланта, то спору нет, — соглашаются четвертые, — но во всем остальном ему до Александра Сергеевича еще, ой, как далеко! Не говоря уже о том, насколько Лермонтов не приятен в общении. Язвитель, горд и заносчив. Дерзости — его призвание».

«Он дерзок оттого, что застенчив. Дерзость — маска, скрывающая его робость, его стеснительность».

«Хороша стеснительность! — подхватывает известный критик. — О чем ни заведи с ним серьезный разговор, моментально всё обратит в потеху, да еще и съязвит на ваш счет, да еще и обзовет фанфароном, а сам станет бахвалиться тем, что теперь у него столько дам на выбор, столько дам, что бордель уже не нужен. Фат и пошляк!».

«Сомневаться в том, что Лермонтов умный, было бы довольно глупо, — вступает в разговор не столь известный господин, — но, соглашусь, и я тоже ни разу не слышал от него ни одного дельного и разумного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою».

«Позвольте вам возразить. Вы, верно, полагаете, что похвала уму — большая честь для поэта? Увы, это честь для критика. А замечать поэту, что он умен, не более, чем делать ему светский комплемент, констатировать очевидное.

Говорить поэту: “Вы умны”, всё равно, что говорить блондину: “Вы блондин”. Да, блондин, и что дальше? Не ум составляет привилегию поэта, но талант проникать такие сущности, которые закрыты для ума. И это уже не искусство поэзии, а момент молитвенного дерзания, облеченного в слово. После такого погружения просто необходимо переключиться, отдохнуть, поплескаться на мелководье, у берега, вместе со всеми. Хочется побыть глупой, болтливой балаболкой; пересмешником, сплетником... Неужели не понятно?».

«Вы его оправдываете: “какой он пронизательный!” А если пронизательный, но подлый? А если пронизательный, но злой?»

Катя Сушкова сочетается законным браком с господином Хвостовым в церкви св. Симеона. На венчании — толпа народа. Мишель требует, чтобы невеста сделала его шафером в память об их прежней близости. Екатерина Александровна отвергает требование, позорное для нее и неприемлемое для жениха. Мишель оскорблен. На глазах его — слезы. Но не слезы утраты своей «возлюбленной», а слезы обиды за отстранение его от первых лиц венчания. опережая молодых, он пребывает из церкви на свадебный пир. Что же он делает у накрытых столов? Он собирает всю соль, какая на них есть, и рассыпает по полу.

Вопрос: «Зачем?»

Ответ: «Пусть новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь!»

На языке того времени и той деликатности Катрин назвала эту мелкую пакость «оригинальной шалостью».

А Мишель продолжает пожинать плоды монаршей милости и литературной славы.

На маскарадах в Дворянском собрании ему не дают прохода дамы и девицы; волнуясь, они кружатся вокруг него, стараются прикоснуться, взять за руки. Он стоит неподвижно, как риф, слушая их всплески и щебетание и лишь переводя с маски на маску отсутствующий взор.

Он в вихре света. Он в фаворе у света. Прошел слух, что уже государыня Александра Федоровна интересуется его стихами, а сестра императора Мария Павловна ими зачитывается. Государя уведомили, что роман о каком-то Печорине допущен цензурой.

— Что за Печорин? Кто вдохновил автора? Опять Байрон? Был Онегин, стал Печорин... Откуда у наших поэтов это пристрастие к байронизму и северным рекам?

— Ваше Величество, Печорин геройствует на юге.

— Неужели? Надо будет взглянуть.

Рабочий день фаворита расписан по часам:

— завтрак у Дашковых,

— обед у Смирновых,

— ужин у Карамзиных.

Бабушкиному Терентьичу делать на кухне нечего. Терентьич отдыхает. Михаила Юрьевича кормят повара Большого света: итальянцы, французы, русские.

Рабочие моменты.

Он и Жуковский, вручающей ему свою «Ундину» с дарственной надписью.

Он и фрейлина императрицы Александра Осиповна Смирнова-Россет — любимая собеседница Пушкина. Шутя, Александр Сергеевич уговаривал ее записывать, помимо прочего, и о нем, не стесняясь, всё, что она думает, а для этого подарил ей альбом, где вместо эпиграфа на первой странице, чтобы ее раззадорить и сподвигнуть на записи, не отрывая пера, начертал, но не от своего имени, а от ее:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;

Смеялась над толпою вздорной,
 Судила здраво и светло,
 И шутки злости самой черной
 Писала прямо набело.

После такого блистательного перевоплощения с призывом не щадить его — Пушкина, посвящение, записанное новым, только что вошедшим в моду поэтом Смирновой не понравилось. Мишель смутился, немедленно вырвал свой лист из альбома, скомкал и обещал в ближайшее время исправиться.

Еще один рабочий момент. Он и Краевский, распекающий его за разгильдяйство: «Отдал каким-то бабам читать своего “Демона”, из которого хотел напечатать у меня отрывки, а бабы черт знает куда его дели, а у него уж, разумеется, нет черного; таков мальчик уродился!..»

Но чаще всего «мальчик» бывает по вечерам у Карамзиных. Там собирается всё самое знаменитое, что есть в Петербурге: Глинка, Брюллов, Даргомыжский, совсем недавно — Пушкин. Там собирается всё самое прелестное, что есть в Петербурге: Пушкина, Смирнова, Растопчина, Щербатова... Общество обращает внимание на то, что последняя становится предметом нарастающего интереса Лермонтова. Он там, где она. На балу, так на балу. В театре, так в театре. У Карамзиных? Значит, здесь. Марье Алексеевне восемнадцать лет. Урожденная Штерич, она только что завершила годовой траур по мужу — князю Щербатову и стала выезжать. В ней чувствуется одухотворенность, без которой ее ослепительность казалась бы чрезмерной. За ней ухаживает барон де Барант — сын посла Франции. Но салон Карамзиных — музыкально-литературный, а не дипломатический. Де Барант — ее друг по балам, а Лермонтов, не уступая балы, делается ее другом по приемам у Карамзиных. На одном из них он читает собравшимся отрывки из поэмы «Демон», над которой трудится много лет. Сейчас в работе восьмая

редакция. Читай не хочу. Но он хочет и читает. А в списках поэма уже ходит по рукам. Великий князь Михаил Павлович, на свой гвардейский манер привечавший Лермонтова и потому пытавшийся перевоспитать его гауптвахтами, острит: «Были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли — духа зла или же дух зла — Лермонтова?»

На это старший брат великого князя мог бы ответить:

— Дух зла создал Лермонтова, а Лермонтов воссоздал духа зла. Поэма, слов нет, хороша, но сюжет ее неприятен. Отчего Лермонтов не пишет в стиле «Бородино»?

Отсюда всякое чуткое к «сигналам» ухо прямо улавливало, что публикации Демону не видать, как своих ушей, а вот «Бородино» — совсем другое дело. За «Бородино» можно, чем черт ни шутит, и на орденок рассчитывать. Хотя бы на Станислава III степени. Правда? А теперь подумайте, господа, как было бы неплохо, если бы автор каждый год писал по «Бородину»... Тогда через полвека почему бы ни издать на государственный кошт роскошный том в переплете из телячьей кожи с медными узорными углами и золотым обрезаем: «Пятьдесят “Бородин”», предпослав стихам доброжелательное напутствие императора? И тот же том, но уже отлитый в бронзе, когда придет свой скорбный час, воздвигнуть на могиле поэта. Оно было бы уместно, достойно, патриотично.

Мишель еще уповал на благосклонное прочтение «Демона» государыней, понимая, что ее религиозное чувство желательно оградить от поэтических вольностей, и потому корпел над восьмой редакцией. Но более всего сейчас его волновало мнение мадам Щербатовой.

После чтения поэмы у нее дома княгиня сказала:

— А вы знаете, мне ваш Демон нравится. Я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака...

А, танцуя с поручиком на балу у графини Лаваль, добавила:

— Я вашим Демоном увлеклась... Его клятвы обаятельны до восторга. Мне кажется, я бы могла его полюбить, веря от души, что в любви, как и в злобе, он был бы действительно неизменен и велик.

В ответ счастливый Мишель пишет портрет Щербатовой. Пером. Своим. Лермонтовским. Проникновенным и прорицающим. Видящим нечто, недоступное уму.

КНЯГИНЕ
МАРЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ЩЕРБАТОВОЙ

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украины она променяла,

Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

Как ночи Украины,
В мерцании звёзд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,

Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых,
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру.

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит.

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

2

А дни идут, и Мишель продолжает нежиться в лучах изменницы-славы, но уже делая вид, что она его утомила и порядком надоела. Он хочет вернуться домой, то есть под кров своей природной лени и глубокой меланхолии. Они — его родные пенаты. Этим желанием он делится со своим давним задушевым другом — Марией Александровной Лопухиной, сестрою Вареньки и Алексея Александровича Лопухиных.

«...Надо вам сказать, что я несчастнейший человек; вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы. Я пустился в *большой* свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Это по крайней мере откровенно. Все те, кого я преследовал в моих стихах, осыпают меня теперь лестью. Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ — отказали, не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; вам, может быть, покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями,

чтобы скучать, слоняясь по гостиным, когда там нет ничего интересного. Ну что же, я открою вам мои побуждения. Вы знаете, что самый мой большой недостаток — это тщеславие и самолюбие. Было время, когда я, в качестве новичка, искал доступа в это общество: это мне не удалось, и двери аристократических салонов были закрыты для меня; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже *лев*, да! я, ваш Мишель, добрый мальй, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять; к счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным. Но этот обретенный мной опыт полезен в том отношении, что дает мне оружие против общества: если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня будет средство отомстить; нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там. Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства; ведь сказали бы, что я еще смешнее других; с вами же я говорю как с своею совестью, а потом, так приятно исподтишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так завидуют дураки...»

Но то неизъяснимое волнение, какое Мишель испытывает по отношению к Мари Щербатовой, и ревность его к де Баранту, заставляют поручика отзываться на все приглашения туда, куда приглашена Мария, где, по всей вероятности, будет и француз.

На балу в особняке у графини Лаваль Эрнест де Барант выразил, наконец, Мишелю свое неудовольствие. Но не тем, что Лермонтов пользуется расположением княгини Щербатовой и добивается ее дружбы, нарушая планы де Баранта, — своих кавалеров она предупредила, что второй раз замуж не выйдет, а близкие отношения вне брака для нее

исключены, — раздосадованный (про себя) параллельными ухаживаниями Лермонтова, Эрнест вслух обвиняет Мишеля в том, что до него дошли какие-то слова Лермонтова, задевшие его честь — честь французского подданного. Мишель лаконично отвечает, что переданное Баранту несправедливо и отказывается от дальнейших объяснений. Тогда Барант идет во-банк: «Вы слишком пользуетесь тем, что мы находимся в стране, где дуэль воспрещена». И немедленно получает ответ: «Это ничего не значит, я весь к вашим услугам».

Поединок назначен на завтра.

Своим секундантом Майошка выбирает Монго, господин барон — одного из соотечественников. Столыпин спрашивает барона, какое оружие он предпочитает.

- Рапиры.
- В России дерутся на пистолетах.
- А что? Русские офицеры не умеют фехтовать?
- Умеют.

Вместе с Мишей воспитывался его родственник и верный друг Аким Шан-Гирей. В детстве они познакомились в Пятигорске, и с тех пор Аким стал членом семьи бабушки Арсеньевой. Он жил с ними в Тарханах. Он переехал с ними в Москву. Он поступил в петербургское Артиллерийское училище, пока Михаил нес государеву службу между столицей и Царским Селом. В день дуэли, 18 февраля, на Масляницу 1840 года, артиллеристов с утра отпустили с занятий, и вернувшись домой Аким узнал от слуг, что «Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов». Все утро шел снег с дождем. Погода была отвратительная.

Часа через два вернулся Мишель, «мокрый, как мышь». Дома, понятное дело, о дуэли никто не знал. Аким спрашивает:

- Откуда ты эдак?
- Стрелялся.
- С кем?!
- С французиком.

— Из-за чего? Как?.. Расскажи.

Оглашать «из-за чего» (или из-за кого) произошла дуэль, гвардеец воздержался, а по поводу того, «как» проходил поединок, поведал, переодеваясь и рассказывая.

— Отправился я к Мунгэ (так племянник склоняет несклоняемого дядюшку «Монгó» да еще коверканного. — А. С.), он взял отточенные рапиры и пару кухенрейтеров (пистолетов. — А. С.) — и поехали мы за Черную речку (туда же, куда три года назад отправились Пушкин и Дантес, а теперь де Барант со своим графом-секундантом. — А. С.). Они были на месте. Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры... До чего же эти Дантесы и де Баранты заносчивые сукины дети!.. Мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападад вяло, я не нападад, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился, так продолжалось минут десять. Наконец, он (француз. — А. С.) оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и всё.

«Мы»-то «разъехались», а дело только началось. Кто-то проболтался, и гвардейское начальство затребовало от поручика Лермонтова объяснений. Майошка вторично сел сочинять объяснительную записку: теперь по поводу дуэли. Впрочем, ничего он не сочинял. Описал все почти так же, как Акиму. Имени назвал всего три и без него известных: себя, Баранта и графиню Лаваль, на чьем балу произошла ссора. О Щербатовой ни звука. Секунданты не названы. Правда, автор записки, подозреваемый в преступлении против закона, слегка поддал патриотического парку́, чтобы потрафить родимому генералитету.

«...16 февраля, на бале у графини Лаваль, господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного. Я отвечал, что все ему переданное несправедливо; но

так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такою же колкостью, на что он сказал, что если бы находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, условились и расстались. 18 числа в воскресенье, в 12 часов утра, съехались мы за Черною речкою на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видел. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги (рапиры? — А. С.), но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он слегка оцарапал [мне] грудь (руку? — А. С.). Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись».

Содержание объяснительной записки становится известно Баранту, и он выражает протест против той версии, что он — подлая посольская мазила, а Лермонтов — благородный русский гусар, стреляющий не в живую мишень, а в воздух.

Пока министр иностранных дел Карл Васильевич Нессельроде решает с государем судьбу дуэлянта де Баранта, перечеркнувшего этим проступком свою карьеру успешного атташе и подставившего Чрезвычайного и Полномочного отца, великий князь Михаил уже не на шутку сердит на Лермонтова, представляя себе гнев императора. Второй раз устроить международный скандал! Второй раз обеспокоить государя! Распоясался шельмец. Немедленно арестовать и посадить в ордонанс-гауз.

Вопрос о бабушкиных посещениях не стоит. Елизавета Алексеевна лежит в параличе. На почве переживаний за внука у нее отнялась нога. Вот они — неучтенные жертвы дуэлей: деды и бабки, родители, сестры, братья, дети, любимые... А мы всё толкуем: каково государю, каково военному

и штатскому начальству; да как нам неудобно перед дипломатическим корпусом... Лицемеры!

Бабушку стараются утешить тем, что Мишина участь будет смягчена, поскольку «наверху» считают, что поручик Лермонтов вступился не столько за себя, сколько за честь русского офицерства.

При таком утешении оказался один чудак — некий Яким Якимович. Он имел обыкновение комментировать чужие реплики по-театральному, *в сторону*, то есть вслух, но как будто рассчитывая на то, что слышат его все, кроме тех, кто эти реплики подает или кому они предназначены.

Бабушку утешают: «Елизавета Алексеевна, помилуют Мишеньку, вот увидите, отпустят, в ваше войдут положение...»

Елизавета Алексеевна повторяет, не веря, но надеясь: «Мишеньку... Да? Вы так думаете? Помилуют?.. Отпустят?..»

А Яким Якимович *в сторону*, как бы обращаясь ко всему театральному залу: «Да как же! Ждите. Сейчас помилуют... Сейчас отпустят... Напротив того. Упекут голубчика, куда Макар телят не гонял. Попомните мое слово: упекут как пить дать!».

Бабушке плохо. Все шикают на гостя, стыдят его: «Яким Якимович! Как вам не совестно так пожилого человека разуберять?!» А Яким Якимович вроде и в толк не возьмет: «Вы-то Ее Превосходительству сказки рассказываете, а я-то правду говорю. Да не ей, а вам!.. Один раз попался — простили. Второй раз попался — не простят. Вот и весь сказ».

3

А пока суд да дело, Майошка осваивает новое место заточения со звучным немецким именем *ордонанс-гауз* — комендантское управление, где арестованные офицеры ожидают решения военного суда. Здесь куда вольней, чем на гауптвахте Главного штаба. И отношение лояльное, и кормят, и писчие принадлежности не возбраняются и посетителей допускают. Правда, внук еще не знает, что это бабушка,

лѣжа в параличе, выхлопотала у коменданта ордонанс-гауза разрешение на допуск посетителей к Мишеньке, чтобы ему скучно не было.

Раз пришел в офицерскую тюрьму знаменитый критик Виссарион Белинский. Это его Майошка однажды обозвал *фанфароном*, а в ответ получил *фата* и *пошляка*. Виссарион негодовал на то, что от Лермонтова не добиться ни одного путного слова. Любой серьезный разговор он тут же сворачивает то на анекдот, то на балагурство, то на издѣвку. Виссарион Григорьевич слыл человеком серьезным, основательным и вдумчиво-многословным. Ему мало стихов и прозы. Он хочет от Лермонтова обзоров, оригинальной критики, стройных теорий. От кого?.. От поэта! А для поэта как раз обзоры, критика, теории — пустое дело, самый несерьезный разговор. Но здесь, в «заточении» Лермонтова как будто подменили. Он дал Виссариону полную сатисфакцию — четыре часа совместного дружного трѣпа об американской литературе. Виссарион Григорьевич вышел из заключения совершенно счастливым. Он убедился в том, что Лермонтов не дурак, осененный свыше, а сам ни черта не понимающий; но что он говорит с Белинским на равных, а в чем-то и превосходит. Между прочим... Так что критик начинает робеть... «Дьявольский талант!»

И был визит, который комендант уж никак бы не допустил, если б не прохлопал. По требованию арестованного Лермонтова два знакомых гусарских офицера привезли к нему прямо за решетку барона де Баранта, остававшегося на свободе, благодаря своему дипломатическому иммунитету. Дело в том, что де Барант продолжал обижаться на поручика. Француз публично утверждал, что напрасно Лермонтов хвалится, якобы подарил ему жизнь выстрелом в воздух. Это неправда. И как только бахвал выйдет на свободу, он будет наказан. Теперь — за хвастовство.

Всем на беду Аким передал эти слова Майошке, тот вызвал барона к себе в ордонанс-гауз и в присутствии двух свидетелей со стороны предусмотрительного француза в приступе

гордого молодечества предложил ему новую встречу, если предыдущая его не вполне удовлетворила...

— Сударь, слухи, которые дошли до вас, не точны, и я должен сказать, что считаю себя вполне удовлетворенным, — ответил барон.

Тем временем его матушка, обожавшая своего Эрнестика, подобно тому, как Елизавета Алексеевна обожала своего Мишеньку, довела до сведения гвардейского начальства, что Лермонтов при очной встрече в ордонанс-гаузе вызвал ее сына на повторную дуэль.

Это придало делу совсем иной оборот. Государь был вне себя. Как так? Сидеть под арестом за дуэль в ожидании решения военного суда, затребовать к себе противника и предложить ему повторный поединок?! На что это похоже? Где видано? О чем думал комендант? Куда смотрел дежурный офицер? Чем занимался караул? О каком смягчении наказания Лермонтову можно говорить? Судить по всей строгости!

А «по всей строгости» означает Кавказ, но «строгость» ли это для Майошки, который и сам туда рвется — в самое пекло, когда оно полыхнет? Об остальных маленький гусар и не думает. Он думает о своей внешней чести: о мнении армейского начальства, об авторитете у однополчан... При этом имеют значение только мужчины. Женщины в расчет вообще не берутся. Их номер — «восемь».

Приказ по кавалерии: «...переводится лейб-гвардии Гусарского полка поручик Лермонтов в Тенгинский пехотный полк тем же чином. Военный министр генерал-адъютант граф Чернышев».

А Тенгинский полк как раз и стоит на Кавказе, где заканчивается временная передышка и готовится новая большая экспедиция, то есть война.

— И чтобы максимально использовать поручика Лермонтова в деле. При себе не держать, — приказал Николай командующему Чеченским отрядом генерал-лейтенанту Галафееву.

Напрасно Мишель писал Лопухиной, что начальство даже не хочет, чтобы его убили. Обстоятельства изменились. Теперь хочет. Если не убить, то подольше поквасить в какой-нибудь захолустной крепостишке.

А пока он срочно раздаривал только что вышедшие из печати экземпляры «Героя нашего времени», танцевал последние мазурки, паковал багаж и наносил прощальные визиты.

У Карамзиных он признался Александре Осиповне Смирновой и Мари Щербатовой, что иногда испытывает такую тоску, что не может с ней справиться.

— А вы попробуйте читать молитвы, — предложила Мари.

— Я не помню ни одной.

— Как? Даже «Отче наш»? — удивилась Александра Осиповна.

— И «Отче наш» забыл.

— Машенька, научите Михаила Юрьевича молитвам. Хотя бы этой.

— Михаил Юрьевич, вы действительно не помните?

— Ни слова.

— Вы меня разыгрываете.

— Ничуть.

— Тогда повторяйте за мной.

Отче наш, Иже еси на небесех!

— *Отче наш, Иже еси на небесех!*

— Хорошо.

Да святится имя Твое.

— *...имя Твое.*

— *Да придет Царствие Твое.*

— *... Царствие Твое.*

— *Да будет воля Твоя.*

— *...воля Твоя.*

— *Яко на небеси и на земли.*

А дальше? Вспоминаете? Как там дальше?

Хлеб...

- *Хлеб наш насущный даждь нам днесь.*
- Ну, вот! Вспомнили. Давайте еще.
И остави нам долги наши.
- *Якоже... Якоже и мы оставляем должником нашим.*
- Видите, как хорошо вспоминаете!
- Это я с вами вспоминаю, а на Кавказе опять всё забуду.
- Не забудете. Вернетесь, и мы вспомним.
И не введи нас во искушение.
- *...во искушение.*
- *Но избави нас от лукаваго.*
- *...от лукаваго.*
- *Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.*
- *Аминь.*

В конце вечера, прощаясь, Мишель прочел и подарил своей прилежной и нежной учительнице двенадцать строк только что написанной собственной молитвы, которою он более чем оправдывал свою несчастную забывчивость.

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

В обители Господа палат много.

4

Свое мнение о дуэли высказали мужчины-участники поединка. Военный суд. Император. А женщины? Что думают они?

В марте 1840 года в течении трех дней подряд (21, утро 22, 23) Марья Щербатова отправляет три письма подруге — графине Анне Блудовой. В них, в частности, а точнее главным образом, рассказывается о том, как *она*, Щербатова, видит поединок Мишеля и Эрнеста.

21 марта

«...Предполагают, что эта несчастная дуэль произошла из-за меня. Я же совершенно уверена, что оба собеседника даже и не думали обо мне во время их ссоры. К несчастью, выглядело так, что оба молодых человека за мной ухаживают. Что я определенно знаю, так это то, что оба меня одинаково уважают. Я очень любила их обоих и говорила об этом всякому, кто хотел слушать. Что же в этом плохого, спрашиваю я Вас? Не раз они слышали от меня, что вторично замуж я не собираюсь. Таким образом, у них не могло быть никаких надежд. Кроме того, каждый из них знал всю глубину моей дружбы по отношению к другому. Я этого не скрывала. Я не видела в этом ничего предосудительного. Что касается этой дуэли, то мое поведение ни в коей мере не могло подать для нее повод, так как я всегда была одинакова по отношению к тому и другому. Эрнест, говоря со мной о Лермонтове, называл его "Ваш поэт"; Лермонтов же, говоря о Баранте, называл его "Ваш любезный дипломат". Я смеялась над этим, вот и все. <...>

Я не ищу других оправданий, кроме тех, которые принесет время. Знаете ли Вы, моя дорогая, что нет ничего более позорного для женщины, чем низкие предположения со стороны тех, кто ее знает. Но если женщина слишком горда, она часто предпочитает склонить голову перед бесчестной клеветой, чем оказать честь людям, на нее нападающим, представляя им доказательства своей чистоты. <...> Что меня бесконечно огорчает, это отчаяние госпожи Арсеньевой, этой чудесной старушки, которая, вероятно, меня ненавидит, хотя никогда меня не видела. Я уверена,

что она осуждает меня, но если бы она знала, насколько я сама раздавлена под тяжестью того, что только что узнала. Мадам де Барант (мать Эрнеста. — А. С.) справедлива ко мне, я в этом уверена. <...> Она знала, каковы мои отношения с ее сыном, следовательно, она не может считать меня виноватой в отъезде ее сына (высланного из России из-за дуэли. — А. С.). Эта семья мне очень дорога, и я им многим обязана.

Я всегда придерживаюсь моего старинного принципа: женщина, замешанная в каких-то слухах, самых нелепых, самых неправдоподобных, всегда виновна, если в этих слухах упоминается ее имя. Исходя из такой концепции, я тоже была неправа. Я судила по себе о свете и мужчинах. Я считала их стремящимися к добру. Потом, как следствие моего возраста и характера, я поверила, как верят все сумасшедшие, что может существовать дружба между женщинами и мужчинами. Все зло исходит из этой глупой предпосылки... <...>

...иногда мне кажется, что мой мозг затуманивается, и я с трудом различаю предметы и сомневаюсь в собственном существовании, сплю ли я, или же я мертва. Иногда я боюсь самой себя. Плачу я редко, но иногда из моей груди вырывается отчаянный смех, как вызов судьбе, и тогда! Тогда! Я, атеистка, я сомневаюсь во всем, и я чувствую несправедливость Бога. Мой характер, такой спокойный и холодный, не позволяет мне часто приходиться в отчаяние. Однако приступы такого отчаяния, впрочем редкие, очень остры, а когда они проходят, остается глубокая дремота всех мыслей и чувств...

Утро 22 марта

...я провела всю ночь, прикорнув на диване, где я писала, и очень удивилась изумлению моей горничной, увидевшей меня спящей совсем одетой. Несколько часов сна освежили меня, но сердце мое переполнено, переполнено слезами, которые я не могу пролить. Я не прошу небо об этом, так как эта пытка мне нравится. Должна Вам сказать, есть некое неопределенное очарование в страдании и в словах, произнесенных шепотом: "я этого не заслужила" ...

23 марта. Москва.

...Эрнест уже покинул Петербург.

<...> ...мне пишут, что [М.] просит быть отосланным обратно на Кавказ. Какой безумец! Думает ли он о своей бабушке, которая умрет от огорчения. Думает ли он о проклятиях всей его семьи, которые он навлечет на мою голову? Родные его никогда не поверят, что я была ни при чем в этой дуэли, и что вся эта история могла произойти только благодаря полученному им хорошему воспитанию. С той и с другой стороны они поступили либо как безумцы, либо как дети, которые ссорятся, не зная причины ссоры. Мужчинам свойственны странные причуды; скомпрометировать женщину, даже такую, которую они уважают — это ничто, это очень порядочно. Их честь зависит только от мелочности выражений. Убить человека, даже если это друг, если он недостаточно поспешно выразил свое приветствие, или же за какую-либо нелепость такого же рода, это, по их мнению, значит обладать честью. Разрушить целую семью, лишив ее одного из любимых ею членов, повергнуть ее в потоки слез взамен подававшихся надежд на будущее — все это ничто, все это приносится в жертву их предполагаемой чести. Это свидетельствует, однако, о том, что истинная цивилизованность не свойственна этим головам, вывернутым наизнанку. На месте госпожи Барант я высекла бы Эрнеста, и вместо того, чтобы подвергнуть Л. аресту, если бы я была дивизионным генералом, поручила бы госпоже Арсеньевой произвести аналогичную операцию по отношению к ее любимому Бенжамену-шалопаяу.

Я счастлива, что они не поранили друг друга, и пусть весь свет меня осуждает, я знаю, по крайней мере, что оба безумца останутся у своих родителей. Я знаю, что такое потеря такого рода, и поскольку мне терять больше нечего, я хочу, по крайней мере, чтобы другие не имели повода упрекать меня за горькие слезы, которые они проливали бы день и ночь по причине случившегося несчастья...»

Много позже означенных событий знатоки предположили, что именно Щербатовой посвятил Михаил Юрьевич стихотворение 1840 года «Отчего».

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... Потому что весело тебе.

Теперь, после писем Щербатовой, мы видим, как жестоко звучат лермонтовские строки о «коварном гонении молвы», какой холодной констатацией веет от слов о расплате «за каждый светлый день», поскольку одним из двух виновников гонения был не кто иной, как именно он, Лермонтов. Он сам беспощаден, как молва. Он не злословил, но он создал почву для злословья. Не зная писем Щербатовой, мы могли бы думать, что причиной гонений служит кто-то другой, никак не автор послания, тогда как автор просто «провидит» последствия гонений, и это преисполняет его грусти. Мы могли бы думать, что он тут не при чем. Он только любит.

Мне грустно, потому что я тебя люблю...

Нет, не только потому что люблю, не от чистейших взаимопревращений печали и любви, которые в самой природе чувств, но еще и от сознания того, что воследует за ними, в том числе по его, автора, вине.

Мне грустно, потому что я тебя гуюблю...

Так должна была бы звучать первая строка. Ты весела, ты ничего не знаешь, а я знаю всё. Вот — «отчего». А грустно мне потому, что, губя, продолжаю тебя любить...

ГЛАВА VIII

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

1

Что знал Михаил Юрьевич о Кавказе, кроме его красот? Он знал, что в силу своего географического статуса Кавказ и населяющие его народы оказались зажаты между тремя могущественными державами: Ираном и Турцией с юга, Россией с севера. Что Большой кавказский хребет разделяет этот край на Закавказье (Армения, Грузия, Азербайджан) и Северный Кавказ, населенный многочисленными племенами черкесов (адыгов), дагестанцев, лезгин, кабардинцев, чеченцев, ингушей... Что многие века Закавказье страдало от притеснений с юга, со стороны Персии (Ирана) и Османской империи (Турции). Что к началу XIX века положение сделалось критическим. Перед Грузией встал выбор: либо потерять государственность в борьбе и погибнуть, либо потерять государственность, присоединившись к России, и выжить. Царь Георгий XII заключает договор с Россией (1801), и страна царств и княжеств благословенная Грузия становится Грузинской губернией Российской империи. А в 1828 году после победы России в русско-иранской войне к северному соседу присоединяются Эриванское и Нахичеванское ханства, образуя Армянскую область. Помимо этого, по договорам с побежденными Ираном и Турцией Россия

получает азербайджанские ханства и побережье Черного моря. На вновь присоединенных землях власть переходит к русской администрации, а защиту от внешних врагов берут на себя русские штыки.

Но всё преткновение в том, что «северный сосед» отделен от Закавказья, лежащего по ту сторону Большого кавказского хребта, не только цепью гор, но и Северным Кавказом, лежащим по эту — «русскую» — сторону, а далеко не все племена Северного Кавказа лояльны России. Это превращает новые территории в анклав. За спиной у них горы и враждебные России племена, перед лицом у них Иран и Турция, от которых они ищут спасения у России. Коммуникации между метрополией и присоединенными землями крайне затруднены, не говоря уже о том, что внутри самого Северного Кавказа процветает межплеменная вражда. Воинственные абреки считают образцом чести и молодчества грабежи и разбои, умыкание людей, кровную месть. Они отличные наездники и стрелки. Горец родится в черкеске, в седле и с кинжалом. Отряды абреков нападают на приграничные казачьи станицы юга России. Всё это создает почву Петербургу для мотивации колониальной войны на Северном Кавказе.

Михаил Юрьевич знал, что пока в Европе велись наполеоновские войны, России было не до Кавказа, но по окончании войн она на правах империи, победившей Наполеона, сосредоточила внимание на южной проблеме. Александр I предполагал быстро и бескровно ее решить. Как либерал-европеец, он был за мирное решение. Однако вновь назначенный командующий Отдельным Кавказским корпусом генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов — герой Отечественной войны Двенадцатого года, убедил императора в том, что горцы покоряются только военной силе и предложил тактику карательных экспедиций. Большой, хорошо вооруженный отряд выходит на мятежный аул, разоряет посевы, угоняет скот, сжигает поселение дотла, бунтовщиков уничтожает, остальных вытесняет глубже в горы — с плодородных

земель на бесплодные плоскогорья. Ермолов применял эту тактику без сантиментов, но встречал отчаянное сопротивление. На Северном Кавказе Россия влипла в трясины затяжной партизанской войны.

Если русские войска, согласно замыслу Ермолова и законам колониальных войн, вели планомерное истребление сельскохозяйственных угодий, вырубку лесов, методично вводили подати и повинности, карали непокорные аулы, то горцы сражались хаотично и не могли противопоставить регулярной армии ничего, кроме знания местности, защиты родимых пепелищ, безумной храбрости и стойкости своих джигитов.

На Северном Кавказе столкнулись две мотивации: имперская и национальная. Имперскую питала необходимость надежных коммуникаций с Закавказьем и наведение порядка по сю сторону Кавказского хребта. Национальную питала родная земля и воинственный дух предков. Но этого оказалось мало. Положение изменилось, когда имамы — духовные вожди мусульман объявили газават — священную войну неверным, то есть русским, переведя противоборство из плоскости «имперское — национальное» в плоскость «христианское — мусульманское». Теперь абреки бились не только за свободу, но и за веру; не только за родные горы, но и за аллаха. На территории Дагестана и Чечни образовалось непокорное государство — имамат. В 1834 году его возглавил имам Шамиль — национальный герой всего Северного Кавказа. Он укрепил теократическое государство — имамат Шамиля, сплотив в своих руках светскую, военную и духовную власти. Он создал государство-войско, нацеленное на борьбу с Россией. Шамиль превратил Северный Кавказ в крепость с полумиллионным гарнизоном, в который, по слову Ермолова, входили мужчины, женщины, старики, дети... Шамиль мобилизовал всё боеспособное население Чечни и горного Дагестана. Он возглавил 30-тысячную регулярную армию, включавшую пехотные сотни и кавалерию.

Ее ударную пружину составляли муртазаки — хорошо вооруженные всадники, постоянно находившиеся в состоянии полной боевой готовности. Так Шамиль подготовился к визиту Николая I с инспекцией Кавказской линии.

Исторические документы свидетельствуют, что «в сентябре 1837 года император впервые посетил Кавказ и остался недоволен тем, что, несмотря на многолетние усилия и крупные жертвы, мы были еще далеки от прочных результатов в деле освоения края». Стало очевидным, что надежды государя на укрепление Кавказского корпуса прапорщиком Лермонтовым, способным лично решить проблему умиротворения Северного Кавказа, не оправдались. Ускоренного «освоения» не получалось. Большую часть времени прапорщик проводил не в боях с горцами, а в любезном ему дамском обществе на водах, принимая кислосерные ванны по причине разыгравшегося ревматизма. Более того. Он отсутствовал на смотре своего полка, устроенном в честь Николая. О, если бы государь заметил хоть малейшую оплошность в обмундировании, выправке, вооружении, печатании шага, несдобровать бы никому! Но полк был безупречен, и, по счастью, Майошка не подвел однополчан ни своей косолапостью, ни «дитячей полусабелькой», ни наличием «неформенного шитья» на воротнике и обшлагах мундира. Не подвел просто в силу того, что находился в дозволенной ему по болезни отлучке. Состоянием полка, в отличии от состояния дел на Северном Кавказе, Николай Павлович остался доволен. Именно тогда он и подписал инициированный бабушкой Арсеньевой приказ о переводе Лермонтова назад в гусары, не поинтересовавшись: а присутствовал ли тот на смотре?

За год до возвращения Мишеля в ряды покорителей Кавказа командующим Кавказской линией был назначен генерал-лейтенант Граббе Павел Христофорович, прошедший школу войн с Наполеоном, лично известный Александру I. Между прочим, Граббе внес свою лепту в движение декабристов, однако, не разделил с ними идею насильственного

свержения власти и уклонился от участия в Декабрьском вооруженном восстании.

Теперь на Кавказе он повел решительное наступление против армии Шамиля, штурмовал неприступную крепость Ахульго, где укрывался имам со своею семьей. Ахульго обороняли именно так, как говорил Ермолов: мужчины, женщины, старики, дети. Но сила солону ломит. Крепость пала, Шамиль бежал.

Русское командование объявило приказ о разоружении горцев. Это вызвало новую волну сопротивления, которую возглавил спасшийся при Ахульго Шамиль. Исправлять положение Граббе поручил генерал-лейтенанту Аполлону Васильевичу Галафееву. Галафеев тоже сражался с Наполеоном, брал Париж, воевал с турками, участвовал в Польской компании, а на Кавказе отличился при штурме Ахульго. Несмотря на такие ратные заслуги, в одной из его характеристик было сказано: «...хотел быть строгим с молодежью, но это ему никогда не удавалось...» Толстенький, коротенький, в плоских сапожках, грустно и устало глядящий поверх густых эполет, всё норовящий присесть бочком на пустой барабан — бочонок затянутый бараньей кожей, Галафеев ничуть не походил на бравого боевого генерала, а между тем был им волею судьбы. Вот в его-то распоряжение и поступил поручик Лермонтов, когда летом 1840 года генерал в качестве командира Чеченского отряда собирал экспедицию против горцев.

2

Какое серьезное (да и пустячное) дело в самодержавном государстве обходится без визы *самодержца*? Он во все вникает. Он стремится все контролировать и хочет *держат* сам все вожжи в своих руках. При этом, бывает, и упрекнет приближенных в несамостоятельности, но такой упрек — ничто по сравнению с гневом, который может обрушиться на голову того, кто распорядится чем-либо, не справившись с волею государя.

Хорошо выспавшись, сорокачетырехлетний император Николай I — гроза Европы и страх Востока — верный заветам предков начал день молитвой перед иконкой древней до той вековой, закопченной свечками черноты, что проступала сквозь ветхие узоры складной окладной позолотцы. Государь прочел «Отче наш», прочел машинально, не вдумываясь в содержание и не вслушиваясь в собственный голос, как будто молитва служила ему лишь фоном для мыслей совершенно посторонних, вдруг занявших его ум. К тому же прочел в сокращенном виде: «Отче наш, Иже еси на небесех! // Да святится имя Твое, // да придет Царствие Твое, // да будет воля Твоя, // яко на небеси и на земли. // Аминь».

Молитва сократилась как-то сама, не нарочно. Но после слова *Аминь* возвращаться к опущенному и восполнять усеченное показалось Николаю неуместным.

Скромно позавтракав овсяной кашею с клюквой, выпив чашку кофе с хрустящим желтым калачом, осыпанным белой муцицей, Николай Павлович по привычке отправился для моциона на прогулку вдоль Дворцовой набережной. Нева всегда успокаивала его своим простором и глубокой темной синевой. Подышав утренней свежестью, никого в этот ранний час на пустынной набережной не встретив, император степенно проследовал на службу в тот самый Зимний дворец, в котором проснулся, сотворил усеченную молитву и позавтракал. В вестибюле он на минуту задержался у высокого зеркала, чтобы поправить височки, зачесав их уголком вперед.

А вскоре к подъезду дворца через Зимнюю канавку со стороны Миллионной подкатила легкая каретца, из которой бодро выпрыгнул военный министр граф Чернышев, Александр Иванович, убедительный мужчина лет пятидесяти пяти. Граф начинал карьеру как русский шпион при дворе Наполеона или, выражаясь аккуратней, как военно-дипломатический агент. Будучи личным курьером Бонапарта в его переписке с Александром, русский граф руководил агентурной сетью в министерстве обороны Франции. Сведя

знакомства с людьми более чем интересными для Двуглавого Орла, он раздобыл у них массу секретов и даже совершенных секретов в пользу России. При его деятельном участии был жестоко обманут сам доверившийся ему Наполеон, получивший фальшивые печатные доски карт Российской империи, будучи уверенным, что карты подлинные. Обман, увы, раскрылся уже после того, как французская армия пересекла русскую границу. Глядя на карты и переводя взгляд на реальный пейзаж, великий полководец не совсем понимал, куда его занесло. Чернышев, что называется, спутал Наполеону все карты, чем заслужил одобрение императора Александра. С возрастом граф становится всё большим консерватором, что естественно. За тринадцать лет он так хорошо пригрел свое министерское кресло, что вставал из него разве что ради докладов Его Величеству Николаю. Как, например, сегодня.

Александр Иванович не жаловал огнестрельное оружие, отдавая предпочтение оружию холодному. Оно было тихим, что, вероятно, более соответствовало профессиональным интересам и навыкам отечественного агента. Но дело не только в диверсионной практике. Граф был уверен, что исход любого сражения решает рукопашная битва. В связи с такой убежденностью военного министра русская армия хранила святую верность кремнёвым ружьям, в которых сноп искр, воспламенявший порох, без осечек высекался одним ударом кремня по кресалу. Да, без осечек! Но в сухую погоду. А в дождь, а в снег обстоятельства принуждали войска к мирному сосуществованию с неприятелем в виду того, что порох отсыревал и не зажигался: нет, кремень и кресало по-прежнему озарялись немеркнущим снопом искр, но шельма-порох не давал произвести выстрела.

Войдя в тот же вестибюль дворца, через который чуть раньше проследовал государь, Александр Иванович остановился перед высоким зеркалом, поправил височки, зачесав их уголком вверх и вперед, поднялся к дверям кабинета и получил разрешение войти.

Выпрямился во весь рост.

Резко выдохнул.

Переступил воображаемый порог.

Император сидел за огромным письменным столом в самом благожелательном расположении духа. Он вспомнил ту озорную мысль, что утром вознамерилась отвлечь его от молитвы и повлияла на ее полноту. Дело в том, что Чернышев, как опытный царедворец, всегда и во всем соглашался с государем. Это было и правильно. Попробовал бы он возражать... Это государь и ценил в своем военном министре. Но сегодня перед иконкой Николай Павлович придумал, зная такую черту Чернышева, подшутить над ним: поперегибать его в разные стороны своими противоположными аргументами и проверить, насколько тот гибок.

— Граф, так ты по-прежнему полагаешь, будто исход сражения решает рукопашный бой? — спросил Николай, привыкший ко всем обращаться на «ты», как старший, хотя был младше Чернышева на одиннадцать лет.

— Так точно, Ваше Величество.

— А потому нам следует совершенствовать холодное оружие, да? Что же касается огнестрельного, то оно тебя вполне устраивает, так?

— Истинно так.

— Но смотри, Чернышев, французы перевооружились с кремнёвых ружей на капсюльные. Англичане, на что консерваторы, но и у тех тоже капсюль. Насколько я понимаю, разница в том, что в кремнёвых ружьях воспламеняется порох, а в капсюльных — гремучая ртуть?

— Абсолютно справедливо, Ваше Величество.

— Но в дурную погоду порох сыреет, и сплошь идут осечки, а ртуть осечек не дает. Тогда надо ставить на вооружение капсюльные ружья вместо кремнёвых?

— Выходит, что так, Ваше Величество. Нечем возразить.

— Это тебе нечем, Чернышев. Смотри, я просто рассуждаю вслух... Допустим, мы пошли на большие издержки,

перестроили тульские заводы на производство капсюльного оружия. Но ведь нашу «сено-солому» надо еще научить им пользоваться... Не получится ли, что кремнёвые ружья мы сняли с производства, капсюльные солдатами еще не освоены, а враг уже у дверей?

— Есть риск, Ваше Величество, есть.

— Значит, прежде чем переходить с кремня на капсюль, хорошо бы еще семь раз отмерить?

— Истинно так, Ваше Величество!

— Но, с другой стороны, подумай, Александр Иванович, порох на полку надо сыпать и сыпать, как табак на самокрутку, а капсюль устанавливается одним движением руки. И осечек не дает в любую погоду. Или я что-то упускаю?

— Никак нет, Ваше Величество. Ваш аналитический ум...

— Это правда. В чем-в чем, а в уме никто еще мне не отказывал. Чернышев! А я ведь до сих пор и тебя считал умным. Что же ты мне все время поддакиваешь?

— Потому и поддакиваю, Ваше Величество.

— Достойный ответ, — похвалил государь (а про себя подумал: «Лис! Со всем согласился. К Пасхе придется внести в наградные списки»). Ну, что у тебя там?

— Курьезный случай. В Риге поручик Звонов сватается к дочке полковника Пусто́. Полковник настаивает на том, чтобы молодые взяли двойную фамилию, причем первой должна стоять девичья фамилия невесты.

— То есть фамилия полковника?

— Совершенно верно. Как старшего по званию. Субординация-с.

— И что?

— Получаются Пусто́-Звоновы...

— Вы и *это* не можете решить без меня?..

— Командир Рижского гарнизона полагает смену фамилий вне своей компетенции.

— А в чьей? Неужели только в моей?.. Тут не компетенции нужны, а здравый смысл.

Николай Павлович сосредоточился. Его взгляд, воспламенявшийся, как сухой порох, в присутствии хорошеньких Пустó, в иных случаях, как порох под дождем, случалось, отсыревал и давал осечки. Но сегодня он высек резолюцию одним ударом кремня по кресалу.

— Дабы не вводить в смущение девицу и не делать предметом насмешек Нашего поручика, приказываем: в ущерб субординации именовать молодых Звоновы-Пустó.

Что еще у тебя?

— Командующий Кавказской линией генерал-лейтенант Граббе Павел Христофорович...

— Это какой Граббе? Тот, что был замешан в деле о тайных обществах?

— Так точно. Но понес заслуженное наказание в виде четырехмесячного заточения в крепости, а потом честно искупил свою вину кровью.

— Хорошо. И что он хочет?

— Совместно с командиром Чеченского отряда генерал-лейтенантом Галафеевым просит Высочайшего дозволения на экспедицию в Малую Чечню.

— Давно пора.

— Совершенно согласен.

— Сколько мы уже средств, подумай, в этот Кавказ всадили, скольких людей потеряли, а что толку? А где результат?

— Результат, Ваше Величество, пока не достигнут.

— «Пока»... Двадцать лет воюем. Мало проку от этих экспедиций.

— Мало, Ваше Величество.

— Нужно что-то другое.

— Истинно так.

— Но другого-то нет!..

— Так точно, нет!

— Пиши.

«Его Императорское Величество в присутствии Своем
в Санкт-Петербурге
Соизволил отдать следующий
ПРИКАЗ

по Кавказской линии

...провести экспедицию в Малую Чечню.

Подписал: «Военный министр генерал-Адъютант граф Чернышев».

А по получении приказа в Чеченском отряде и доведении его до сведения господ офицеров, в Москву на имя чиновника синодальной конторы Алексея Александровича Лопухина полетело срочное известие с Кавказской линии:

«ДОНЕСЕНИЕ

*Его высокоблагородию, милостивому
государю Алексею Александровичу Лопухину.
В Москве на Молчановке, в собственном доме,
в приходе Николы Явленного*

Еду брать пророка Шамиля. Надеюсь, что не возьму.
А если возьму, пришлю тебе по пересылке.

Подписал:

«Ссылный второго срока поручик герцог Лерма».

Подпись, если б она и была подлинной, носила сугубо майошный характер. К тому времени все испанские фантазии о происхождении Лермонтовых давно развеялись. На запрос Михаила Юрьевича Исторический архив Мадрида сообщил, что герцог Лерма (отсюда Лермантов) был премьер-министром Испании в начале XVII века, то есть, когда, по достоверным сведениям, шотландский воин Георг Лермонт (отсюда Лермонтов!) уже передавал свое ратное искусство русским воеводам.

Другое дело, что его далекий предок Томас Лермонт, славный пением под многострунную арфу, однажды прилег у дерева и то ли во сне, то ли наяву видит, как к нему приближается сияющая красавица на белом коне. Грива коня закручена мелкими прядями и перевита разноцветными шнурками. Парча попоны расшита скатным жемчугом, а всадница закутана в темно-синий бархат плаща.

— Томас, ты — лучший певец на земле! Прими же от меня в дар яблоко из моего сада. Вкусивший от этого плода, не сможет лгать, уста его будут говорить только правду.

— О, госпожа! Возьми назад свой подарок. Он принесет мне несчастье. Как смогу содержать я семью, честно торгуя и честно покупая? Как стану говорить с королем, который ждет от меня не истины, но любезной Его Величеству лжи? Какая правда нужна святым отцам? Знати? Даже и друзьям... Все отвернутся от меня. Все меня возненавидят.

— Не проси, Томас, нет! Мой подарок не возвратим. Вместе с ним ты обретешь дар читать в людских сердцах; они станут для тебя прозрачней хрустала; они раскроют перед тобой своё былое и явят грядущее — вот всё, что нужно поэту. Об остальном позаботится твоя арфа.

ГЛАВА IX

ВАЛЕРИЙ

1

Согласно установленному порядку, на всем протяжении Экспедиции специально выделенный офицер, помимо основных обязанностей, вел «Журнал военных действий», куда ежедневно записывал точным и лаконичным образом всё происходящее, а именно:

1. Названия и номера воинских частей, участвующих в экспедиции.
2. Состояние вооружения, провианта и фуража.
3. Названия деревень (аулов) и особенности местности по пути следования отряда: реки, леса, овраги, горы.
4. Действия отряда с указанием фамилий, воинских званий и титулов военачальников.
5. Действия неприятеля.
6. Потери со стороны неприятеля.
7. Потери со стороны отряда.
8. Фамилии отличившихся в деле офицеров и младших чинов для представления их к наградам.
9. Журнал ведется от лица командира отряда генерал-лейтенанта Галафеева.

По преданию «Журнал военных действий» в экспедиции 6–17 июля 1840 года Галафеев доверил вести

прикомандированному к его штабу поручику Лермонтову. Поскольку записи делались от лица командира, то имя офицера-«летописца» нигде не указывалось. Тем не менее, есть вероятность того, что им был именно Лермонтов — участник экспедиции, образованный и смелый молодой офицер, постоянно находившийся в контакте с Галафеевым; исполнявший его поручения на разных участках передвижения, разведки, боя, то есть детально осведомленный о ситуации и ее развитии. В отличие от весельчака великого князя Михаила Павловича, который обещал, что если поэт начнет отдавать в стихах команды на плацу, то продолжит это делать на гауптвахте, Аполлон Васильевич — в душе покровитель искусств — мог доверить Лермонтову серьезное дело без опасений по поводу того, в каком жанре будет вестись Журнал: не онегинской ли строфой? О ту пору в Петербурге уже вышел первым изданием роман «Герой нашего времени», так что потенциальный автор «Журнала военных действий» вполне овладел и русской прозой. Художественной прозой. Включавшей в частном случае и профессиональную терминологию военных реляций.

Верим, что читаем Лермонтова — беспристрастного летописца одной из экспедиций 1840 года.

**«Действия отряда под начальством
генер.-лейт. Галафеева на левом фланге
Кавказской линии в 1840 году**

*(Извлечения из Журнала военных действий
с 6 по 11 июля 1840 года)*

6 июля

Отряд в составе двух баталионов пехотного Его Светлости, одного баталиона Мингрельского и трех баталионов Куринского егерского полков, двух рот сапер, при 8-ми легких и 6-ти горных орудиях, двух полков Донских казаков, № 37 и 39-го и сотни Моздокского линейного казачьего полка, с 10-дневным провиантом и с полкомкомплектном запасных

артиллерийских снарядов, выступив из лагеря при крепости Грозной, переправился с рассветом по мосту через реку Сунжу и взял направление через ущелье Хан-Калу на деревню Большой Чечень...

С приближением отряда к деревне Большой Чечень неприятель стал показываться в малом числе и завел перестрелку с казаками, посланными для истребления засеянных полей...

Дошед до деревни Большой Чечень, оставленный жителями, и после сделанного там привала, отряд, предав селение это со значительными садами пламени, двинулся далее к деревне Дуду-Юрт.

В то же время истреблены казаками близлежащие засеянные поля.

Войска прибыли к вечеру благополучно в Дуду-Юрт и расположились там лагерем для ночлега.

7 июля

Отряд, сжегши деревню Дуду-Юрт, следовал далее через деревню Большую Атагу к деревне Чах-Гери...

Близ деревни Большого Атага малые неприятельские партии начали беспокоивать передовую и левую цепь, но авангардными линейными казаками при содействии огня артиллерии и цепи принуждены скрыться на правом берегу Аргуна. В то же время другие партии старались вредить арьергарду, но также линейными казаками и огнем артиллерии были рассеяны.

Подходя к деревне Чах-Гери и заметив, что селение это занято значительным числом неприятелей, я остановил следование главной колонны и арьергарда и приказал командующему авангардом полковнику барону Врангелю вытеснить неприятеля. Полковник Врангель исполнил это приказание самым удачным образом...

Между тем значительные партии чеченцев с правого берега реки Аргуна старались препятствовать нам брать воду, но поражаемые огнем 4-х горных орудий, поставленных на

левом возвышенном берегу... принуждены были удалиться, потерпев значительную потерю.

...Желая дать отдых кавалерии, которая... в этот день была занята истреблением засеянных полей до самого Аргунского ущелья... я решился переночевать в Чах-Гери.

8 июля

Отряд выступил с рассветом из деревни Чах-Гери...

В начале движения толпы неприятелей высыпали из лесу и стали беспокоивать левую цепь главной колонны, но полковник князь Белосельский-Белозерский с тремя сотнями казаков перешел влево, бросился на них в атаку и оттеснил обратно в лес.

Подойдя к Гойтинскому лесу, авангард был усилен еще двумя полевыми орудиями. При приближении войск, заметив, что деревня Апшатай-Гойта, находящаяся у самого входа в Гойтинский лес, занята неприятельскими партиями, я приказал полковнику Фрейтагу обстреливать как эту деревню, так и самый лес, и после нескольких выстрелов поручил... выгнать неприятеля из деревни. Деревня мгновенно была занята, и неприятель выбит из оной штыками. Между тем авангард, обстреливая лес, дошел без сопротивления до канавы, перерезывающей оный и, как мост был разрушен, то саперы занялись устройством другого. Незначительная перестрелка с боков главной колонны, совершенное молчание впереди авангарда не заставляли подозревать присутствия неприятеля в значительных силах.

Войска стягивались, саперы занимались спокойно работою, как неожиданный залп с левой стороны авангарда показал, что тут многочисленный засел неприятель. Артиллерия тотчас была направлена в ту сторону и открыла сильный картечный огонь; но чеченцы упорно держались, — подозревая, что они чем-либо закрыты от смертоносного огня артиллерии, я желал в том удостовериться, и адъютант г. военного министра лейб-гвардии поручик граф Штакельберг вызвался

осмотреть это место, почему после залпа из 6-ти орудий картечью он понесся верхом к самому лесу и усмотрел, что чеченцы засели в завалах за срубленными деревьями, оставленными на местах при расчистке леса; при сем отважном предприятии под графом Штакельбергом ранена лошадь. Деревья в аршин и более в диаметре скрывали совершенно неприятеля от огня артиллерии, и не оставалось ничего другого, как выбить их из завалов штыками... С невероятною быстротою егеря завладели завалами. Цепь в лесу была усилена и... весь отряд по устроенному мосту выдвинулся из леса... Деревня при уходе войск была сожжена.

9 июля

Войска дневали в лагере при Урус-Мартани. Чтобы воспользоваться этой дневкой, я утром послал восемь сотен донских казаков при двух конно-казачьих орудиях для истребления полей и сожжения деревни Таиб; 2-й баталион Куринского егерского полка... послан по правому берегу реки Мартана, как для окончательного истребления деревни Урус-Мартана, так и для поддержания в случае надобности отряда... Войска, исполнив без всякой потери это поручение, благополучно возвратились в лагерь. К вечеру на равнину между деревнями Урус-Мартан и Гажи-Рошни высланы были фуражеры и в прикрытие им 1-й баталион Куринского егерского полка с двумя орудиями и с двумя сотнями казаков донских. Когда фуражеры заняли отысканные ими места, неприятель стал показываться из опушки близлежащего леса в большом числе. Это заставило меня усилить высланное вперед прикрытие еще 1-м баталионом Его Светлости полка и одною сотнею линейных и одною же донских казаков. Между тем чеченцы, засевшие в балке, которую артиллерия не могла обстреливать, открыли огонь по нашей цепи, прикрывавшей фуражеров. Заметив это, полковник князь Белосельский-Белозерский... показывая вид будто занимается топтанием полей... незаметно подвел казаков к балке и быстро бросился

в атаку. Изумленные чеченцы пришли в замешательство и обратились в бегство. Казаки быстро преследовали их и положили 16 тел неприятельских на месте...

В ночь на 10-е число неприятель дважды старался подкрадываться к нашему лагерю, но был открываем секретами и встречаем сильным ружейным огнем, принужденным нашелся скрыться, не нанеся нам никакого вреда, хотя стрелял залпами.

10 июля

Отряд выступил с рассветом из лагеря при Урус-Мартани и следовал к деревне Гехи. Во время следования малые неприятельские партии вытеснены были из деревень Чурик-Рошни, Пешхой Рошни, Хажи-Рошни, и деревни эти сожжены, а принадлежащие им посеы истреблены совершенно... Отряд, прибыв к деревне Гехи и предав ее пламени, истребил близлежащие засеянные поля и расположился возле деревни лагерем для ночлега.

11 июля [сражение на реке Валерик]

Отряд выступил из лагеря при деревне Гехи, имея в авангарде все три баталиона Куринского егерского полка, две роты сапер, одну сотню донских и всех линейных казаков при 4-х орудиях. Впереди авангарда под командою полковника князя Белосельского-Белозерского следовали 8 сотен донских казаков с двумя конными казачьими орудиями.

В главной колонне следовал обоз под прикрытием баталиона Мингрельского егерского полка, имея при себе две горные мортирки и, кроме того, в каждой боковой цепи по одному горному 3-х фунтовому единорогу (гладкоствольное артиллерийское орудие. — А. С.). В арьергарде шли 2 баталиона Его Светлости полка с двумя горными и двумя легкими орудиями и с сотнею донских казаков.

Авангардом командовал полковник Фрейтаг, главную колонною капитан Грекулов, арьергардом полковник Врангель.

В таком порядке войска следовали к Гехинскому лесу, приблизившись к оному, два конные орудия присоединены были к авангарду, а часть передовых казаков к главной колонне, а остальные к арьергарду. Неприятель нигде не сопротивлялся и даже не показывался, авангард беспрепятственно вступил в Гехинский лес, несколько выстрелов с левой стороны цепи заставили меня подозревать присутствие там неприятеля, но брошенные гранаты заставили неприятеля прекратить огонь.

Для большего обеспечения обоза, усилив боковые цепи двумя ротами Куринского полка, полковник Фрейтаг приказал, кроме того, двум баталионам вверенного ему полка, под командою Эстляндского егерского полка майора Бабина, при первом выстреле с неприятельской стороны — выбить его из лесу и оставаться в оном до прихода всего обоза. Майор Бабин хотя и встретил сильное сопротивление в завалах, но после двукратного натиска оные были заняты нашими войсками.

Между тем авангард вышел на поляну. Обоз, подаваясь за авангардом, был все время прикрываем 2-м баталионом и 8-ю егерскою ротою Куринского полка, которые, следуя движению обоза, вышли также из леса, ведя сильную перестрелку.

С приближением арьергарда бой в левой цепи разгорался все сильнее и сильнее; для поддержания войск был послан туда из авангарда еще 1-й баталион Куринского полка. Сильный натиск неприятеля на арьергард с боков и с тыла вынудил 1-й баталион ускорить движение. Арьергард был в жарком огне и ему предстоял трудный подвиг — он должен был отражать многочисленного неприятеля, окружавшего его с трех сторон и несколько раз завязывавшего рукопашный бой с застрельщицкими цепями и их резервами, и между тем выносить своих раненых. Здесь в особенности отличались своею хладнокровною храбростию командующий 3-ю мушкетерскою ротою Его Светлости полка подпоручик

Калантаров и полковой аудитор 13-го класса Смирнов. Последний, командовавший, за недостатком офицеров, частью любой цепи, при этом случае сильно ранен в ногу.

Хотя начальник арьергарда полковник барон Врангель с похвалою выполнил свою обязанность, но я не менее того счел за необходимое послать 1-й баталион Куринского егерского полка в подкрепление ему, после чего арьергард начал выходить из леса на поляну; чеченцы с исступлением выскочили было на него, но встреченные картечью из двух орудий, заранее для сего приготовленных, они скрылись снова в лес. Выйдя на полянку, все войска заняли прежний свой боевой порядок и начали подаваться вперед.

Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой. Правый берег был более открыт, по левому тянулся лес, который был около дороги прорублен на небольшой ружейный выстрел, так что вся эта местность представляла нечто в виде бастионного фронта с глубоким водяным рвом.

Подойдя к этому месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь. Ни одного выстрела не сделано с неприятельской стороны, ни малейшего движения не было видно. Местность казалась совершенно ровною, не было видно ни малейшего следа оврага, и казалось, что дорога не пересекалась. Уже сделано было распоряжение двинуть в каждую сторону по одному баталиону с тем, чтобы, по занятии леса, люди оставались там до тех пор, пока не протянется весь обоз. Дабы обеспечить пехоте занятие леса, весь отряд двинулся еще вперед; артиллерия подошла уже на ближайший ружейный выстрел; цепь, выдвинутая вперед, находилась от леса на пистолетный выстрел, но с неприятельской стороны сохранилось то же молчание. Едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы со всех сторон открыли убийственный огонь против пехоты и артиллерии. В одно

мгновение войска были двинуты вперед с обеих сторон дороги. В лес на правой стороне дороги направлены были первые полубатальоны трех батальонов Куринского полка под командою майора Пулло; в лес же по левой стороне все вторые полубатальоны тех же батальонов под командою майоров Витторта и Бабина. Сюда же был двинут вскоре после и первый полубатальон Мингрельского егерского полка под командою капитана Грекулова. Храбрый и распорядительный командир Куринского полка, полковник Фрейтаг, сам впереди вел на кровавый бой своих куринцев; с быстротою обскакал он ряды их; везде слышен был ободряющий голос его, и в виду целого отряда он с неимоверным хладнокровием распоряжался атакою. Добежав до леса, войска неожиданно остановлены были отвесными берегами речки Валерика и срубам из бревен, за трое суток вперед приготовленными неприятелем, откуда он производил смертоносный ружейный огонь. Тут достойно примечания, что саперы, следовавшие в авангарде за 3-м батальоном Куринского полка, увидевшие, что войска остановлены местным препятствием, без всякого приказанія бросились к ним на помощь, но они не были уже нужны храбрым егерям: помогая друг другу, они перебирались через овраг по обрывам, по грудь в воде, и вскочили в лес в одно время с обеих сторон дороги. В лесу они сошлись с чеченцами лицом к лицу; огонь умолк на время; губительное холодное оружие заступило его. Бой продолжался недолго. Кинжал и шашка уступили штыку. Фанатическое исступление отчаянных мюридов не устояло против хладнокровной храбрости русского солдата! Числительная сила разбросанной толпы должна была уступить нравственной силе стройных войск, и чеченцы убежали на поляну на левом берегу реки Валерика, откуда картечь из двух конных орудий, под командою гвардейской конной артиллерии поручика Евреинова, снова вогнала их в лес.

В лесу снова начали раздаваться весьма частые ружейные выстрелы; но это не был уже бой, а походило более на

травлю диких зверей! Избегая смерти с одной стороны и пробираясь между кустами, чеченец встречал ее неожиданно с другой стороны.

Между тем, когда войска начали вдаваться далее в лес, с правой стороны лежащий, часть чеченцев, коих отступление совершенно было отрезано, бросилась к опушке леса и начала бить в обоз; против них я двинул второй полубатальон Мингрельского полка под команду корпуса жандармов майора Лабановского, и чеченцы вмиг были подняты на штыки. Другая партия, также оттесненная немного подальше к опушке, вышла на равнину вперед позиции и начала бить в обоз с правого фланга. Заметив это, я поставил против них два конных орудия, под команду поручика Евреинова, и поскакал к 2-м сотням донских казаков, чтобы приказать им идти в атаку; но князь Белосельский-Белозерский, прибыв с другого края, предупредил меня и двинул тех казаков вперед. Чеченцы, поражаемые картечным огнем и видя приближающуюся кавалерию, стремглав бросились опять в лес, где весьма немногим из них удалось спастись от поражения нашей пехоты...

Мало-помалу бой начал утихать; в лесу остались одни только мертвые, и войска начали вытягиваться с другой стороны поляны, чтобы обеспечить переправу, которую разрабатывали саперы, с трудом отозванные из лесу, где они нашли пищу для своей необыкновенной храбрости.

Должно отдать также справедливость чеченцам: они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным; выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение трех суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мечиковцы, жители Большой и Малой Чечни, бежавших надтеречных и всех сунженских деревень, с каждого двора по одному человеку, удивительное хладнокровие, с которым они подпустили нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи — все это вместе могло бы поколебать твердость солдата и ручаться

им за успех, в котором они не сомневались. Но эти солдаты были те самые герои, которые не раз проходили по скалам Кавказа, эти солдаты были ведомы теми же офицерами, которые всегда подавали им благородный пример редкого самоотвержения, и чеченцы, не взирая на свое отчаянное сопротивление, были разбиты. Они в сем деле оставили на месте боя до 150 тел и множество оружия всякого рода. Потеря с нашей стороны в этот день состояла из убитых 6-ти обер-офицеров, 63 нижних чинов; раненых: двух штаб-офицеров, 15 обер-офицеров и 198 нижних чинов; контуженных: 4 обер-офицеров и 46 нижних чинов; без вести пропавших: 1 обер-офицер и 7 человек нижних чинов; 29 убитых и 42 раненых лошадей.

По переходе через речку Валерик войска следовали далее по направлению к деревне Ачхой, не будучи беспокоиваемы более неприятелем. Прибыв к речке Натахы, я расположил отряд лагерем по обоим берегам речки. Тут я узнал от взятой в плен женщины, что чеченцы имели полную надежду воспрепятствовать переходу отряда через реку Валерик и что поэтому еще многие семейства находились до самого появления наших войск на полевых работах.

Успеху сего дела я вполне обязан распорядительности и мужеству полковых командиров Его Светлости полка: [перечисление]... Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова и 19-й артиллерийской бригады прапорщика фон-Лоер-Лярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапную смертью».

2

Итак, перед нами исторический документ. Сомневаться в честности «летописца» нет никаких оснований. Зато есть все основания считать, что прочитанное нами — это документальная правда об одном из эпизодов Кавказской войны,

записанная ее непосредственным участником по горячим следам событий.

Все формальные требования к ведению «Журнала военных действий» выполнены полностью.

1. Имена и номера воинских частей представлены: пехотный Его Светлости полк, Мингрельский и Куриновский егерские полки, саперы, артиллерия, 37-й и 39-й полки Донских казаков, сотни Моздокского линейного казачьего полка...

2. Состояние вооружения и провианта указано: полкомплекта запасных артиллерийских снарядов, 10-дневный запас продовольствия.

3. Названия деревень (аулов), рек, лесов, ущелий по пути следования перечислены: выступили из лагеря при крепости Грозной (возведенной русскими солдатами за четыре месяца 1818 года неподалёку от ущелья Хан-Калу с целью перекрыть неприятелю возможность выхода с гор на равнину), переправились через реку Сунжу, сделали привал в деревне Большой Чечень (согласно этимологии, слово *чечня* означает *внутренняя территория*)...

4. Действия отряда с указанием фамилий, воинских званий и титулов военачальников названы:

- деревня Большой Чечень с окружающими садами предана пламени;
- близлежащие засеянные поля истреблены;
- деревня Дуду-Юрт спалена;
- партии неприятелей отогнаны огнем артиллерии и линейными казаками...

Полковник барон Врангель... Полковник князь Белосельский-Белозерский... Полковник Фрейтаг... Капитан Грекулов...

5. Действия неприятеля обозначены: чеченцы засели в завалах... открыли убийственный огонь против пехоты и артиллерии...

6. Потери со стороны неприятеля оценены: «до 150 тел и множество оружия всякого рода».

7. Потери с нашей стороны указаны досконально:

- убитыми 6 офицеров и 63 низших чинов;
- ранеными 17 офицеров и 198 низших чинов;
- контуженными 4 офицера и 46 нижних чинов;
- без вести пропавшими 1 офицер и 7 нижних чинов.

8. Фамилии отличившихся в деле перечислены для представления к наградам:

- полковые командиры Его Светлости полка [перечислены];
- Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов;
- 19-й артиллерийской бригады прапорщик фон Лоер-Лярский...

9. Журнал велся от лица командира отряда генерал-лейтенанта Галафеева.

Всё по форме. Для поэта такое насилие над собой тоже своеобразное «отличие в деле», потому что всякий формализм, до некоторой степени неизбежный в государственных делах вообще и в колониальных войнах в частности, неприемлем для поэта, ибо творчество не терпит никакой формовки, внешней заданности, ограничений. Оно свободно и безмерно. Оно живет своими законами, а не предписаниями начальствующих. Ему неведома никакая уверенность в себе, тем более в победе. Его победы порой воспринимаются окружающими как поражения, предательства, узость взгляда. За это к наградам не представляют. За это представляют к разного рода порицаниям. И главное, что сделал Лермонтов после добросовестно с точки зрения командира составленного отчета о военных действиях отряда на левом фланге Кавказской линии, так это то, что, впечатлившись малой документальной правдой о сражении на реке Валерик, он создал большую художественную правду о том же событии в поэме без названия, обращенной к не поименованной адресатке и начинающейся даже как-то пародийно — цитатой из письма Татьяны Онегину: «Я к вам пишу...»

А пишется письмо случайно, самому автору непонятно для чего и почему. Вроде и сказать ему нечего. Он знает

только, что его даме абсолютно безразлично, где он, как, что с ним... Ему смешно себя морочить. В начале письма он признается, что любил ее долго, потом страдал, потом бесплодно каялся и, наконец, убил цвет жизни холодным размышлением. Зато теперь Восток сблизил его с учением Пророка и обратил душу «в первобытный вид», когда простые труды и мирские заботы усыпили сердце, затормозили воображение и остается лишь дремать в траве под сенью чинары...

Если бы автор остановил свое послание на этом месте, получился бы еще один образец лермонтовского лирического скепсиса, уже знакомый нам по прежним вариациям. Но здесь-то и начинается поэма-воспоминание о бое на реке Валерик, ставшая новым словом в русской литературе.

...Кругом белеются палатки;
 Казачьи тощие лошадки
 Стоят рядком, повеся нос;
 У медных пушек спит прислуга,
 Едва дымятся фитили;
 Попарно цепь стоит вдали;
 Штыки горят под солнцем юга.
 Вот разговор о старине
 В палатке ближней слышен мне;
 Как при Ермолове ходили
 В Чечню, в Аварию, к горам;
 Как там дрались, как мы их били,
 Как доставалось и нам;

И вижу я неподалеку
 У речки, следуя Пророку,
 Мирной татарин свой намаз
 Творит, не подымая глаз;
 А вот кружком сидят другие.
 Люблю я цвет их желтых лиц,
 Подобный цвету наговиц,

Их шапки, рукава худые,
 Их темный и лукавый взор
 И их гортанный разговор.
 Чу — дальний выстрел... прожужжала
 Шальная пуля... Славный звук!..
 Вот крик — и снова все вокруг
 Затихло... но жара уж спала,
 Ведут коней на водопой,
 Зашевелилася пехота;
 Вот проскакал один, другой!
 Шум, говор... «Где вторая рота?»
 «Что, выучить?» — «Что же капитан?» —
 «Повозки выдвигайте живо!»
 «Савельич!» — «Ой ли!» — «Дай огниво!» —
 Подъем ударил барабан,
 Гудит музыка полковая;
 Между колоннами въезжая,
 Звенят орудья; генерал
 Вперед со свитой поскакал...
 Рассыпались в широком поле,
 Как пчелы, с гиком казаки;
 Уж показались значки
 Там на опушке — два, и боле.
 А вот в чалме один мюрид¹
 В черкеске красной ездит важно,
 Конь светло-серый весь кипит;
 Он машет, кличет — где отважный?
 Кто выйдет с ним на смертный бой?..
 Сейчас... Смотрите: в шапке черной
 Казак пустился гребенской;
 Винтовку выхватил проворно,
 Уж близко... выстрел... легкий дым...
 «Эй вы, станичники, за ним!» —

1 Стремящийся посвятить себя исламу (*араб.*).

«Что? ранен?..» — «Ничего, безделка!..»
И завязалась перестрелка...

Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовались на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет...

Раз — это было под Гихами —
Мы проходили темный лес.
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удалцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом,
И дым их то вился столбом,
То расстился облаками;
И оживились леса:
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось.
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей...
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки...

И градом пуль с вершин дерёв
Отряд осыпан... Впереди же
Все тихо... Там между кустов
Бежал поток; подходим ближе;
Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись, — молчат...
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблестало,
Потом мелькнуло шапки две, —
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье!..
Недолго длилось оно,
Но в этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... глядим: лежат рядами...
Что нужды? — Здешние полки
Народ испытанный... «В штыки!
Дружнее!» — раздалось за нами.
Кровь загорелась в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы,
Кто не успел спрыгнуть с коня...
«Ура!» — и смолкло. — «Вон кинжалы!..
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился; резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь;
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть
(И зной и битва утомили
Меня), — но мутная волна
Была тепла, была красна...

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,

Стоял кружок. Один солдат
Был на коленях; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью. На шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась; но высоко грудь
И трудно подымалась; взоры
Бродили страшно. Он шептал:
«Спасите, братцы! Тащат в горы...
Постойте! где же генерал?..
Не слышу» ... Долго он стонал,
Но все слабей, и понемногу
Затих — и душу отдал Богу.
На ружья опершись, кругом,
Стояли усачи седые
И тихо плакали... Потом
Его останки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли... Тоской томимый,
Им вслед смотрел я, недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.

Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по камням,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане

И донесенья принимал.
 Окрестный лес, как бы в тумане,
 Синел в дыму пороховом,
 А там, вдали, грядой нестройной,
 Но вечно гордой и спокойной,
 В своем наряде снеговом,
 Тянулись горы — и Казбек
 Сверкал главой остроконечной.
 И с грустью тайной и сердечной
 Я думал: жалкий человек...
 Чего он хочет? Небо ясно,
 Под небом места много всем, —
 Но беспрестанно и напрасно
 Один враждует он — зачем?..

Галуб прервал мое мечтанье,
 Ударив по плечу, — он был
 Кунак¹ мой. Я его спросил,
 Как месту этому названье?
 Он отвечал мне: «Валерик, —
 А перевесь на ваш язык,
 Так будет — речка смерти; верно,
 Дано старинными людьми». —
 «А сколько их дралось примерно
 Сегодня?» — «Тысяч до семи». —
 «А много горцы потеряли?» —
 «Как знать? зачем вы не считали?» —
 «Да! будет, — кто-то тут сказал, —
 Им в память этот день кровавый».
 Чеченец посмотрел лукаво
 И головою покачал...

1 Друг у кавказских горцев. — А. С.

До Лермонтова русские поэты соперничали в восхвалении духа войны. Они славили мощь нашего оружия; стратегию императоров и пыл полководцев; жертвенный солдатский подвиг. Славили вдохновенно. Поначалу напыщенно и отвлеченно, потом точней и предметней.

Встраиваясь в фарватер времени, Михайло Ломоносов ликовал от того, что

На запад смотрит грозным оком
Сквозь дверь небесну дух Петров,
Во гневе сильном и жестоком
Преступных он мятет врагов.

Гаврила Державин героической одой, тем же размером пел неукротимого Росса:

Огонь, в волнах неугасимый,
Очаковские стены жрет,
Пред ними Росс непобедимый
И в мраз зелены лавры жнет;
Седые бури презирает,
На льды, на рвы, на гром летит,
В водах и в пламе помышляет
Иль умереть, иль победить.

Александр Пушкин, являя чудеса одушевленного владения словом, в романтической «Полтаве» восклицает:

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О, славный час! о, славный вид!
Еще напор — и враг бежит:

И следом конница пустилась,
 Убийством тупятся мечи,
 И падшими вся степь покрылась.
 Как роем черной саранчи.

И всё это — вид на войну сверху, глазами государей, как на бранную забаву, в которой мы всегда торжествуем, а врагов и не жалко: *саранча*.

Следуй Лермонтов такой поэтической традиции, он должен был бы отправить в Москву, на Молчановку, чиновнику синодальной конторы Лопухину что-нибудь вроде:

Кичится враг хурмою, грушей,
 Броней орехов фунтов на́ семь
 И виноградной гроздью дюжей,
 Но дружный залп кремнёвых ружей
 Заставит всех попадать наземь.

И распрямившись, как пружины,
 Ударят с пылом небывалым,
 Отважны и неударжимы,
 Святые русские дружины
 По супостатовым завалам!

Леса дремучие корная,
 На правый бой пойдём мы снова,
 Врага упорного карая,
 Под бранный клич: «За Николая!»
 И как ничто: «За Чернышева!»

Но нет. Императорская почта не донесла подобных победоносных строк до Лопухина. Впервые в русской литературе поэт увидел войну не сверху — с позиции самодержца, из его кабинета в Зимнем дворце, а снизу — со дна реки Валерик,

мутной от крови застреленных, зарубленных, проколотых тел. Это была революция в изображении войны.

Впервые война возникла не отвлеченно-пафосно, а конкретно, со всеми походными реалиями, от лица человека, который лично эти реалии пережил, а теперь пережил вторично — творчески, в письме к женщине, которую когда-то любил. И маленькая правда документа, что так дорога искателям истины, сухонькая, как всякая производная ума, полностью вошла и совершенно растворилась в громадной художественной правде, облаченная ее плотью и кровью.

Впервые именно Лермонтовым — бравым джигитом, бесстрашным вестовым генерала Галафеева — было сказано главное антивоенное слово и поставлен главный антивоенный знак вопроса: «Зачем?..»

И с грустью тайной и сердечной
 Я думал: жалкий человек...
 Чего он хочет? Небо ясно,
 Под небом места много всем, —
 Но беспрестанно и напрасно
 Один враждует он — зачем?..

Так душа офицера устами поэта обратилась к разуму, и разум не дал ей никакого вразумительного ответа, оставив риторическим вопрос, требующий срочного решения. А если бы дал, то ему пришлось бы нагружать и нагружать свою чашу весов аргументами типа: коммуникации, порядок, просвещение, прогресс, интересы империи... Но смогли бы все эти доводы перевесить единственный на противоположной чаше: жизнь человека? С точки зрения государя: «Да, безусловно». С точки зрения поэта: «Нет, никогда».

3

Милая бабушка!

Я возвратился из поездки по Кавказу. Пожалуйста, не переживайте, у меня все в порядке. Состою при штабе как вестовой генерала. Иногда он посылает меня разведать обстановку, передать донесения другим командирам, доложить. Тогда я скачу туда-сюда, разузнаю, передаю, докладываю.

Вообще мне очень везет с командирами. Помните, какой был хороший генерал-майор Хомутов Михаил Григорьевич, у которого мы с Вами купили английского жеребца? А теперь генерал-лейтенант Галафеев Аполлон Васильевич... тоже очень добрый и внимательный к подчиненным. Он любит стихи, что, как Вы догадываетесь, мне по душе. Я сделал рисунок карандашом — изобразил Галафеева, сидящем на барабане. Кто видел, говорит: похож. Он и меня полюбил. Отправил ненадолго на отдых в Пятигорск. Только Вы об этом особенно никому не рассказывайте, а то кляузников много, доведут до государя, и он разгневется на Аполлона Васильевича, скажет: «Галафеев! Я тебе что приказывал? Не держать Лермонтова при себе, при штабе. Постоянно использовать его в деле. А ты?.. Кто тебя надушил назначить его своим вестовым, да еще отпускать в Пятигорск на минеральные источники? Какие он тебе там вести разведывает? Он офицер или курортник? Я его на Кавказ воевать направил или ванны принимать? Он их прошлый раз уже напринимался. Хватит!»

Бабушка, Аполлон Васильевич хочет представить меня к награде. Вначале он думал про орден Св. Владимира 4-й степени с бантом, но опытные люди отсоветовали: «Риск. Могут не дать. Надежней просить Св. Станислава 3-й степени». Так он и поступил. А мне сказал: «Если и Станислава не дадут, я попрошу для вас именное оружие — золотую полусаблю». На войне среди офицеров именное оружие котируется не хуже орденов, отношение к нему самое уважительное. К тому же мне будет приятно явиться на смотр великому

князю Михаилу Павловичу с этой детской полусабелькой-напоминанием и взрослой гравировкой по клинку: «За храбрость!».

Если сможете, пришлите сюда собрание сочинений Жуковского, все тома, сколько бы их там ни было. А еще попросите Акима купить для меня Полное собрание сочинений Шекспира по-английски. Переводчики у нас хорошие, но я лучше переведу сам. Так мне спокойней. Да не знаю, сумеет ли Аким найти Шекспира в Петербурге? Препоручите. Только, пожалуйста, поскорее.

Поэму «Демон» я, слава Богу, закончил. Мечтаю по возвращении прочесть ее Вам вслух от начала до конца. А вообще моя мечта — выйти в отставку. Чего мне здесь еще ждать?

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны, целую Ваши ручки, прошу Вашего благословения и остаюсь покорный внук

М. Лермонтов

ГЛАВА X

ДЕМОН

1

Осенью 1840 года был ранен юнкер Дорохов, командовавший в отряде сотней охотников или добровольцев, выполнявших разведку боем. Учитывая «расторпность, бойкий взгляд и пылкое мужество» поручика Лермонтова, команду охотников доверили ему. В команду входили разжалованные боевые офицеры, желавшие храбростью искупить вину и вернуть утраченные эполеты; волонтеры, казаки, кабардинцы и прочие, которых Мишель, с добродушным высокомерием и одновременно умаяя себя, как командира, называл «разным сбродом», но радовался, что ему достался этот «сброд», и предоставлены полномочия действовать по своему усмотрению согласно складывающейся обстановке. Сам он когда-то отрекомендовался господам офицерам на «Балагане» как Скот Чурбанов, и не снимал с себя этого прозвища. Именно Чурбанову во главе охотников пришлось отбивать скот у чеченцев, оставлявших аул Алды, вступая с ними в рукопашный бой, когда они защищали уже не столько скотину, сколько самих себя. Именно он, Чурбанов, переходя Гойтинский лес, обнаружил неприятельские завалы и, обойдя их, выбил неприятеля из чащи и выгнал на открытое место, где

не пощадил. А при речке Валерик, памятуя об известном сражении, «поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятелей».

В красной шелковой рубашке, хорошо маскирующей пролитую кровь, на белом, как пена, коне он первым бросался на вражеские завалы, показывая чудеса джигитовки, служа образцовой мишенью для неприятеля и не смущаясь вопросом: «Что делать кавалерии в лесу?». Родись Лермонтов чеченцем, он стал бы набом¹ у Шамиля, а родившись русским, он стал штрафником у Николая. Неприязнь императора к поэту росла по мере того, как мюриды безуспешно гонялись за ним на своих быстроногих кабардинских скакунах. Но молитвами бабушки Елизаветы Алексеевны не брала его чеченская пуля, огибая, как заговоренного. Но молитвами Мари Щербатовой не брала его аварская шашка, врубаясь в корявую кору ореховых рощ. И шли в Петербург наградные списки, и следовал ответ: «Государь император не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду». Николая всё больше раздражала вольная удаля осужденного. В первый приезд на Кавказ армейское начальство позволило ему оттачивать свою наблюдательность в кругу курортниц Пятигорска, а теперь доверило команду головорезов, которая действует по своему усмотрению как самостоятельная боевая единица. Опять ему вольница? Опять красная рубаха вместо форменного мундира? Опять вытворяю, что считаю нужным, вместо железного подчинения? Одно дело быть убиту, обороняясь в окопе, согласно распоряжению старшего по званию, а другое дело — если убьют, как героя, атакующего неприятельские завалы...

Фактически внутри регулярной русской армии Лермонтов, подобно Дорохову, вел с чеченцами ту самую партизанскую войну, которую были вынуждены вести против русских

1 Мусульманский наместник.

аборигены, хотя в это время Шамиль уже собирал постоянное войско мюридов.

Майошка, как и предполагал в «донесении» Алексею Лопухину, Шамиля не взял, военная жизнь поручика разочаровала, а потому в другом письме он предался мечтам о жизни мирной, послевоенной: «Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна (Варенька Лопухина, сестра Алексея. — А. С.) будет зевать за пальцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена...».

Скучно стало Михаилу воевать. Надоело.

Вначале в Гусарском полку были плац и фрунт. Бесконечные смотры, придирки Михаила Павловича, заставлявшие Майошку скрашивать жизнь приключениями с Монго, детскими полусабельками и неформенным шитьем. За это приходилось расплачиваться гауптвахтами, а на них, если бы не стихи, можно было бы заботами великого князя с тоски сдохнуть.

Потом за Пушкина душу мытарили. Сослали.

Слава Богу, по дороге на Кавказ ревматизм прихватил. Удалось хоть на водах дух перевести. Тоже поскучать, но в свое удовольствие.

Потом за дуэльку с французиком — пустяковую, как муляж, предали военному суду. Государь похлопотал, чтобы скучно на сей раз не было: всё время в деле. Может быть, Его Величество думают, что здесь каждый день Бородино? А тут после рукопашной, кто выжил, неделю не в силах пальцем пошевелить, и всюду кровь мерещится. Солдатам — отдых, офицерам — Пятигорск. А то неплохо и в Крым с пассивой махнуть на свой страх и риск, чтобы она, опаленная твоей страстью, воскликнула в письме подруге: «Лермонтов? Да он, как Прометей, прикованный к скалам Кавказа!». Это после Крыма-то...

Без войны скучно и с войной скучно. Но с войной — скука смертная!

Одно желание — отставка.

И одна надежда — Елизавета Алексеевна.

Бабушка снова мобилизовала все рычаги влияния на высший генералитет, чтобы вызволить Мишеньку с Кавказа вторично. Ответ, однако, не утешительный: «Пока рано». А ей восемьдесят лет... Что же это такое?! И тогда исстрадавшаяся по своему непутевому придумала зайти с другого боку: не с военного, а с гражданского. Она загадала, что если все придут в такое же восхищение от Мишенькиных сочинений, как она, то это сможет изменить его участь. Государь смилостивится и возвратит ей внука.

Как раз в ту пору издатель Глазунов в Петербурге выпустил Мишин роман «Герой нашего времени» и уже проклинал себя, что связался с Лермонтовым. Роман лег на складе мертвым грузом. Никто даже ухом не вел в его сторону. Терпящий убытки Глазунов кинулся к Булгарину — модному писателю и журналисту, издававшему самую популярную в России газету «Северная пчела». Ее читали все, освоившие по «Псалтири» азы русской грамоты.

— Фаддей Венедиктович, выручай! Напиши рецензию, похвали...

Булгарин, как неподкупный резонер, ответил, что если роман заслуживает похвалы, то она прозвучит, а если нет, то уж не обессудьте...

Здесь просится портрет такого колоритного субъекта как Булгарин. Известный своей враждой с Пушкиным, он полагал, что причина ее кроется в зависти Пушкина к литературной славе более удачливого собрата по перу, чей роман «Иван Выжигин» имел невероятный коммерческий успех.

Фаддей Венедиктович Булгарин... Лупоглазый, толстощекий, пухлогубый господинчик в глухой жилетке, с белым бантиком на шее и белейшим воротничком, с двух сторон обнимающим уголками мягкий подбородок, над которым

шевелится кончик носа, похожий на чуткое «сердечко», того носа, о коем спрашивал неизвестный карикатурист:

Что если этот нос крапиву нюхать станет?
Крапива, кажется, завянет.

В 1806 году Фаддей воюет с Наполеоном в рядах Уланского великого князя Константина Павловича полка, правда, память подсказывала сослуживцам, что «когда наклёвывалось сражение, [улан] старался дежурить по конюшне». Тем не менее ранен и награжден.

Все течет, все меняется. Греки знали, что говорили. И в 1812 году урожденный Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин уже капитан французской армии, кавалер ордена Почетного легиона. Он свято хранит завидную верность избранному роду войск, разве что в составе польских улан и на службе у Бонапарта. С Наполеоном вторгается в Россию, однако досадно прогадывает и через два года сдается немцам, переправляющим его обратно на родину, которую он так и не сумел завоевать силой неприятельского оружия. Некоторое время бедствует, но приходит в себя и выныривает в Петербурге, где втирается в литературный круг, познакомившись с Грибоедовым. Булгарин — либерал. Среди его друзей — Рылеев, Кюхельбекер... Фаддей Венедиктович требует от правительства немедленной Конституции! Однако после разгрома Декабрьского восстания берется за ум и резко меняет политическую ориентацию, для начала способствуя поимке Кюхельбекера, но — жизнь пестра! — спасает и прячет архив Рылеева, выручая многих, в том числе Грибоедова, от компрометирующих материалов. Постепенно набирает силу в печати и при Дворе, становясь кавалером трех бриллиантовых перстней с руки императора. Очень охоч до денег, каковую страсть отчасти, видимо, и удовлетворяет параллельной службой в III Отделении (тайная полиция). Но деньги никогда не бывают лишними. Об этом знает и Елизавета Алексеевна Арсеньева — бабушка горемычного

«Героя нашего времени». Она пишет письмо Булгарину с нижайшей просьбой похвалить Мишенькину книжку в «Северной пчеле», а к письму присовокупляет 500 рублей ассигнациями. Две одинаковых просьбы — от издателя и от бабушки автора — сходятся в кабинете одного Фаддея Венедиктовича. А 500 рублей вперед за газетную статейку — колоссальный гонорар! Как честный журналист, Фаддей не может просто так прикарманить столь значительную сумму. Тем паче от почтенной старушки. Он обязан отработать предоплату. Как это происходило и повествует опубликованная рецензия.

«...Была половина двенадцатого часа, когда я развернул книгу. Читаю, читаю; чтение увлекает меня... Наконец хочу положить книгу, погасить свечу и заснуть... Невозможно! Книга приковала к себе волю мою, ум, сердце, все ощущения души!.. Читаю — и когда я дочел до последней страницы, било шесть часов утра! В мои лета и при моих занятиях мне даже стыдно сознаваться, что я провел ночь без сна, за романом! На другой день я вовсе не мог работать, просидел весь день с головною болью, и не досадовал. На третий день я снова прочел “Героя нашего времени” и сердился на автора... что книга так коротка... Все это случилось со мною впервые в течение двадцати лет. Ни для одного русского романа я не жертвовал целою ночью, и впервые прочел русский роман дважды сряду, и сожалел, что он не длиннее!».

После публикации рецензии в «Северной пчеле» весь тираж романа был вырван со склада с корнем! Многим не хватило, и Глазунов расторопно «взрастил» второе издание, тоже прошедшее «на ура». А главное остались довольны все: Булгарин — гонораром, издатель — успехом двух тиражей книги, казавшейся коммерчески безнадежной, читатели — романом, бабушка — Мишенькиной славой, а Мишенька тем, что слава не потребовала от него не только никакой «погони» за ней, а вообще ни малейшего шевеления.

Он соскучился по Карамзиным, по их вечерам в компании самых прелестных созданий Петербурга и отправил своей

горячей поклоннице Софи Карамзиной письмо, исполненное насмешливым юмором, предназначенным у него для такого рода посланий.

10 мая 1841 г.

«Я только что приехал в Ставрополь, дорогая m-lle Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиним-Монго. Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.

Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, — о падение! Если позволите, я напишу вам их здесь; они очень красивы для первых стихов и в жанре Парни, если вы его знаете.

L' ATTENTE

Je l'attends dans la plaine sombre;
 Au loin je vois blanchir une ombre,
 Une ombre, qui vient doucement...
 Eh non! — trompeuse espérance! —
 C'est un vieux saule, qui balance
 Son tronc desséché et luisant.

Je me penche, et longtemps j'écoute;
 Je crois entendre sur la route
 Le son, qu'un pas léger produit...

Non, ce n'est rien! C'est dans la mousse
 Le bruit d'une feuille, que pousse
 Le vent parfumé de la nuit.

Rempli d'une amère tristesse,
 Je me couche dans l'herbe épaisse
 Et m'endors d'un sommeil profond...
 Tout-à-coup, tremblant, je m'éveille:
 Sa voix me parlait à l'oreille,
 Sa bouche me baisait au front.»

ОЖИДАНИЕ¹

Я жду ее во мгле долин;
 Белеет тень ее вдали
 И приближается ко мне...
 Но — нет, увы! Обман пустой.
 Лишь старой ивы ствол сухой
 Кольшет пряди в тишине.

Тогда я обращаюсь в слух:
 Мне чудится, я слышу звук
 Шагов, запутанных травой.
 Нет... На живую нитку шит,
 Лишь ветхий лист во мху шуршит,
 И веет аромат ночной.

Тоска горька как наяву.
 Нет, горше! Я ложусь в траву.
 Сон осыпается, как сноп.
 Вдруг просыпаюсь я во сне:
 Она о чем-то шепчет мне.
 Склоняется... Целует лоб.

1 Перевод с французского наш. — А. С.

2

В середине июня 1841 года лекарь, титулярный советник Барклай-де-Толли выдал Мишелю следующее свидетельство:

«Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев, сын Лермонтов, одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухlostью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней г. Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страданий необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года; остановленное употребление вод и следование в путь может навлечь самые пагубные следствия для его здоровья».

На этом основании «Юрьев сын» с дядькою Монго явился к пятигорскому военному коменданту полковнику Ильяшенкову как прибывший в город на излечение.

Дурная слава бежала впереди Майошки — слава возмутителя спокойствия, сочинителя и дуэлянта, вызвавшего неудовольствие государя; слава предводителя сотни охотников, набранной с миру по нитке из кавалерийского сброда по всей Кавказской линии; слава гуляки и шалуна, известного коменданту Ильяшенкову с прошлого приезда в Пятигорск. Полковник схватился за голову обеими руками, выскочил из кресла и чуть ни возопил от досады, ища сочувствия у плац-адъютанта:

— Ну, вот опять этот сорвиголова к нам пожаловал! Зачем он здесь и за что нам такое наказание?

Плац-адъютант Сидери, офицер куда более сдержанный и, по счастью, не наделенный ответственностью коменданта города, относился к полковнику как к человеку доброму, недалекому и трусоватому. Комендант вроде бы и тертый калач, а в непредвиденных обстоятельствах теряется, как мальчишка. Плац-адъютант понимал, что вопрос: «за что нам такое наказание?» вытекает из предыдущего: «Зачем он здесь?» — но это «зачем?» вовсе не означало, что

комендант интересуется истинной причиной приезда Лермонтова — она ему хорошо известна: гулять и бедокурить. Вопрос «зачем?» заключает ответ в себе самом. Не столько по мнению, сколько по желанию коменданта, незачем было этой сорвиголове сюда являться, нечего ей тут делать! Тем не менее Сидери предпочел воспринять вопрос буквально, притвориться недотепой и ответить с почти издевательской простотой:

— Приехал на воды.

Такой ответ окончательно вывел коменданта из себя. Дураку ясно, что не на воды приехал, а безобразничать под предлогом вод.

— На какие воды?! Опять на воды? Он уж тут бывал... У него одно на уме: шалить да бражничать, а нам отвечай. Слушайте, подпоручик, а нельзя ли спровадить его куда-нибудь подальше, хоть в Егорьевск? Да в нашем госпитале и мест нет. Куда мы его положим?

— А ему койка в госпитале не нужна, господин полковник. Он снимет квартиру в городе, там они и жить будут, — уверенно предположил Сидери.

— Да еще со Столыпиным прикатил, чтобы вместе бедокурить веселей было... Я, право, в затруднении... Как быть?

Плац-адъютант вошел в положение коменданта, — Ильешенков и не по таким поводам за голову хватался, а тут действительно есть чего опасаться, — и потому решил подбодрить командира:

— Не беспокойтесь, Ваше Высокоблагородие. Будем за ними построже присматривать, повнимательней, а отказать в приеме никак нельзя: у них у обоих есть медицинские свидетельства и разрешения начальника штаба. Не имеем права.

— Я в затруднении... — уже машинально повторил комендант. — Ладно, зовите их.

...А, с приездом, господа! Рад видеть. Как доехали? Надолго ли к нам пожаловали? Какая нужда привела?

— Болезнь, болезнь в вашу дыру загнала, — начал с комплимента городу Майошка. — Одержимы золотухою, худосочием, а главное — изъязвлением языка... Никому не показать.

Но Ильяшенков не позволил молодняку над собой насмехаться.

— Извините, господин поручик! Извините. Я попрошу... Пусть докладывает старший по званию и докладывает как положено. Капитан Столыпин!

Монго вытянулся в струнку и объяснился по всей форме. Дядя с племянником предъявили свои медицинские свидетельства.

Комендант пожал им руки, но предупредил:

— Уговор, господа, уговор. Не шалить и не бедокурить! Иначе в два счета вышлю назад в полки. Без разговоров.

— Нам ли больным и немощным до шалостей, господин полковник? — с учтивым поклоном смиренно отвечал Монго.

— Нашим ли хроническим хворьям-хворобам чудить да бедокурить? — в унисон дядюшке с тою же учтивостью и тем же смирением поклонился племянник. — Позвольте нам лишь чуть-чуть повеселиться, а то мы можем умереть со скуки, и вам же, вам — а кому еще? — придется брать на себя все погребальные хлопоты и хоронить нас, бедных офицеров, захлебнувшихся от тоски в кислосерных ваннах Пятигорска.

— Тьфу-тьфу-тьфу! — сухо, одними губами, отплевался комендант. — Что это вы такое говорите, господин поручик? Я терпеть не могу хоронить людей. Совсем другое дело, если бы вы сказали: «Позвольте нам повеселиться на наших свадьбах!» — вот тогда я бы с удовольствием позволил, пришел, и сам бы повеселился вместе с вами.

— Жениться?.. Тьфу-тьфу-тьфу! — передразнивая коменданта, троекратно отплюнулся от свадьбы Майошка. — Что это вы такое говорите, господин полковник? Да лучше я обопьюсь нарзаном и промучаюсь животом, чем допущу подвести себя под венец! Да лучше я умру, чем женюсь! И опять — уже вторично — придется вам хлопотать о погребении.

Первый раз преставившийся опочил со скуки обнаженным в холостяцкой ванне, а второй раз погиб, не выдержав над головой тяжести брачного венца.

— Ну, ладно, ладно! Я так и знал. Вы неисправимы, поручик. Своим балагурством сами на себя беду накликаете. Как можно? Идите лучше за капитаном и устраивайтесь. Вы в гостинице остановились? Не советую. Там душный номер, теснота, а частным образом вы целый дом снимете на все лето за 100 рублей серебром.

— 100 рублей серебром? — изумился Майошка, продолжая дурачиться. — Где я заработаю такие деньги? Только на большой дороге... Господин полковник, прошу выдать мне патент на изымание денежных средств в виде налога с копыта у всех въезжающих в Пятигорск и выезжающих за его черту!

— Ступайте, ступайте ради Бога... У меня от вас уже голова гудит.

На улице Мишель весело спросил:

— Столыпин! А ты знаешь, что и Мартышка здесь? Будет мне потеха! — и потер от удовольствия руки, предвкушая как возобновит поддразнивать вечно строгого и молчаливого майора, уже отставного, но оставшегося на Кавказе в качестве волонтера. Почему-то особенно он веселил Майошку тем, что ходил в черкеске с кинжалом у пояса. При виде его младший по званию не раз восклицал, в том числе в присутствии дам:

— А вот ыдёт дыкий горэц с балшим кынжалом!

Только и всего. Но Мартынов обиделся и просил прекратить насмешки.

На это Майошка предложил:

— А ты тоже надо мной шути. Пожалуйста, я не возражаю: «А вот эдэт Чурбан-кунак на сывом мэрине!»

Но Мартынова такое предложение не устроило.

Дядя с племянником поселились в общем доме, каждый на своей половине, как когда-то в Царском Селе, открыли двери для друзей, и закипела холостяцкая жизнь.

Михаил Юрьевич имел штат прислуги: камердинера, помощника камердинера, конюха, повара; двух лошадей и много бабушкиных денег, накопленных трудами крепостных и под неусыпным взором Елизаветы Алексеевны лишь отчасти разворованных управляющими. Но пятигорским хозяйством заведовал Столыпин. А Мишель, оторвавшись ото сна, садился за стол у раскрытого окошка, выходящего в сад, полный свежим ароматом и прохладными дуновениями утра и, представьте себе, без всякого комедианства сосредотачивался над листом бумаги. Перед окном росло черешневое дерево. Не отрываясь от работы, поэт иногда протягивал руку в окно и срывал спелые черешни. Потом уходил пить воды и брать ванны. В два часа они с Монго и друзьями собирались дома на обед. Поесть любили не спеша и плотно. К столу подавалось четыре-пять блюд с десертом. Обязательно мороженое, которое Майошка обожал, как ребенок; ягоды, фрукты. Неиссякаемые запасы вин и водок били из погреба, как минеральные источники из-под земли. Отобедав, господа кушали кофе, куря и балагурия. В шесть часов пили чай, после чего всей компанией устремлялись на вечерние моционы к дамам, танцам, картежным столам... Кончилась очередная экспедиция, и в Пятигорск нахлынули гвардейские офицеры, еще более оживив атмосферу ежедневного праздника. Если благородные ухаживания за избалованными красавицами не приносили плодов спелых, как июньская черешня, обращались к более простым и доступным хранительницам наслаждений. А на зеленые картежные столы кавказского Монако дождем сыпалось золото, серебро, ассигнации... Мишель играл, но не безрассудно, как Майошка, а умеренно, как Михаил Юрьевич. Метали: капитан Столыпин, князь Васильчиков (сын Председателя Совета министров России, этим и знаменитый), подполковник Лев Пушкин (брат Александра Сергеевича и потому знаменитый куда более Васильчикова), князь Трубецкой, майор Мартынов, доктор Барклай-де-Толли, устроивший Манго

и Майошке эту лафу на все лето. Лишь однажды Лермонтов крупно проиграл Пушкину. Мартынов дружески хлопнул Льва Сергеевича по плечу:

— Счастливчик!

А Мишель засмеялся:

— Ну, так я, значит, в дуэли буду счастлив!

Мишель засмеялся, а все почему-то на миг оцепенели.

По утрам он уезжал иногда один за город на сером Черкесе, мастью и резвостью напоминавшем ему Парадёра. Более всего нравилась Майошке сумасшедшая скачка по степи с преодолением всех естественных преград. Здесь оттачивал он приемы джигитовки. Дамы рукоплескали ему в кавалькадах, а он ставил Черкеса на дыбы и танцевал конную «лезгинку» — счастливый, как пятнадцатилетний наездник, впервые сорвавший приз на Императорских скачках. Замечено, что творческий гений, сколько бы лет ни было его носителю, избегая усредненного благоразумия «михаилов юрьевичей», как бы «пропускает» средний возраст благополучной самоуверенности, колеблясь между детской шкодливостью и старческой мудростью. Перед окном, открытым в сад, Мишель был сосредоточен и вдумчив, как старик; а в степи или гарцуя в кавалькадах, он же становился беспечным, жизнерадостным Майошкой, задорным и по-детски тщеславным, готовым пощеголять своим удальством перед всеми, кто захочет им восхититься.

Он давно забыл, как просил у Ильяшенкова разрешения «чуть-чуть» пображничать, повеселиться. Веселились и бражничали столько, сколько было денег, а денег было много. Пружина веселья сжималась все туже. Мишель предложил устроить пикник с дамами в гроте у Сабанеевских ванн.

Лучшим организатором празднеств и фейерверков считался генерал князь Голицын, но тут он что-то закапризничал, сказал, что неприлично женщин хорошего тона кормить трактирным ужином и перемешивать особами с бульвара, на что Мишель возразил:

— Это в Петербурге неприлично, а на водах общество разношерстное.

И решили обойтись без Голицына тем более, что «особы с бульвара» интересовали не только Майошку. Для офицеров изюминку привольной пятигорской жизни составляла простота нравов хорошеньких жительниц, скромных обитательниц здешней горной Аркадии. Прямо с бульвара, без нарядов, приглашали барышень к себе «на бал по вдохновению» — на танцы до упаду, не загадывая, где и как случится этот желанный «упад». Потому о Пятигорске мечтали, как о манне небесной, и такие медицинские свидетельства, какие Монго и Майошка получили от Барклая, считались главной наградой за ратный труд.

Просторный грот у Сабанеевских ванн украсили зеленью, персидскими коврами и шалями; люстры и колонны обвили цветами; всюду — и в гроте и вокруг — развесили мириады разноцветных фонариков. На площадке у грота поместили военный духовой оркестр. Аллеи выстлали лентами из красного сукна. Богатый буфет вливал свежие силы в танцующих. Всех обуял какой-то приступ безудержного веселья, как будто пировали в последний раз. Мишель особенно много танцевал, вальсируя до головокружения. И это длились всю ночь.

Казалось бы, общество выдохлось. Нужен отдых. Но надо знать Пятигорск! Через несколько дней был большой прием в доме у генеральши Верзилиной и ее дочери Эмилии, которую Мишель переименовал в Верзилию. Правда, здесь уже удовлетворялись только обществом дам хорошего тона. Мишель острил со Львом Пушкиным, таким же балагуром и мастером на колкости, развлекая высокое собрание несравненной Верзилии, когда в зале появился Мартынов, как всегда строгий, немногословный; как всегда в дежурной черкеске с оружием у пояса. При виде его Майошка довольно громко объявил:

— А вот ыдет дыкий горэц с балшим кынжалом!

Только и всего. Но не первый раз. Дамский смех заставил Мартынова побледнеть. В течении вечера шутки повторялись, и майор не выдержал.

История ссоры глазами Мартынова выглядит так.

«С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума; но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее. На вечере в одном частном доме, за два дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома я удержал его за руку, чтобы он шел рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: “Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэлей; следовательно, ты никого этим не испугаешь”. В это время мы подошли к его дому. Я сказал ему, что в таком случае пришло к нему своего секунданта, и возвратился к себе».

Мартынов попросил быть своими секундантами офицера Конного полка Глебова и князя Васильчикова. Лермонтов выбрал князя Трубецкого и, конечно, Монго. Секунданты настойчиво выполняли свою первую функцию — отговорить поссорившихся от дуэли, тем более что со стороны ее причина

выглядела досадным пустяком, словесной перепалкой, нервами, разыгравшимися на фоне смертельно опасных экспедиций. Но «пустяк» этот, да еще умноженный памятью о похищенных письмах и дневнике, оказался слишком чувствительным для Николая, Михаил же никакой вины за собой не числил: в машинациях с письмами так и не признался, а сыпать насмешки за грех не считал — он же предложил Мартышке ответно дразнить его сколько угодно. Но никаким «равенством» это предложении и не пахло, поскольку Майошка был больно боек в искусстве поязвить — от легких подтруниваний до ранищих колкостей — и предавался им с наслаждением, тогда как Николай — изошрен в этом вовсе не был, питал отвращение ко всяким издевкам, а ему великодушно предлагали соперничать на чужом поле. У секундантов возникла проблема: кто должен сделать первый шаг к примирению? Мишель полагал, что Мартынов, поскольку вызов последовал от него. Николай полагал, что Лермонтов, поскольку тот его фактически спровоцировал на вызов: сделал предложение себя вызвать. Каждый проявил упорство, и примирения не последовало.

А что же в итоге?

А в итоге еще днем 15 июля Михаил Юрьевич гулял по ореховой роще с некой прелестной «креолкой», а в 6.30 пополудни уже стоял перед своим соперником у подножия Машука на виду у секундантов, приехавших верхами и на дрожках.

Стрелялись из тяжелых дальнобойных кухенрейтеров крупного калибра. По условиям поединка секунданты развели Николая и Михаила на 35 шагов. В ответ на команду каждый мог сделать навстречу другому не более 10-ти шагов, стреляя в любой момент. Осечка считалась за выстрел. В случае промаха разрешались два повторных выстрела, но в сумме не более трех.

К моменту дуэли погода резко испортилась. Из-за Бештау поднялась громадная черная туча. Упали первые капли дождя.

Дуэлянты выбрали противоположную тактику. По команде Лермонтов поднял пистолет и быстро пошел навстречу Мартынову, имея право стрелять в любой момент. А Мартынов напротив шел медленно, не поднимая оружия, и поднял его только подойдя к барьеру.

Лермонтов оказался у барьера раньше, но не стрелял.

Мартынов спустил курок.

Мишель стоял к нему боком. Пуля пробила руку, прошила грудь и вылетела насквозь.

Майошка упал.

И в этот миг вдобавок к мартыновской мести, природа сотворила свою невыносимую месть, озарив молнией вершины гор, оглушая их громовыми раскатами. Хлынул ливень. От страха рвались, ржали привязанные кони, били копытами землю. Во вспышках молний металась секунданты. Майошка, всю жизнь презиравший театральные эффекты, смеявшийся над любыми котурнами, гримом, над всякими попытками казаться значительней, чем ты есть на самом деле; Майошка, успевший написать «Завещание» за умирающего капитана («Наедине с тобою, брат...»), где нет вообще ни одного поэтического тропа, был осужден на гибель в грандиозных декорациях кавказской грозы!

Он погиб на месте.

Секунданты, оставив с ним Глебова, кинулись под проливным дождем, кто за доктором, кто за извозчиком, но те не соглашались ехать по такому поводу и в такую непогоду.

А потом, уже в Пятигорске, возникла неожиданная для военных, далеких от церковного устава, сложность с панихидой. Священник Василий Эрастов наотрез отказался отпевать дуэлянта. Протоиерей скорбященской церкви Павел Александровский тоже ни в какую не хотел хоронить убиенного на дуэли. По канону ни преступников, ни дуэлянтов не отпевают. Еле уговорили всем миром отца Павла. Но чтобы «без музыки и никакого парада».

В день похорон собрались представители ото всех четырех полков, в которых служил поручик: лейб-гвардии

Гусарского, Нижегородского драгунского, Гродненского гусарского, Тенгинского пехотного.

Офицеры вынесли гроб из дому на плечах и несли до кладбища на склоне Машука.

По свидетельству очевидца, «все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это поражало: ведь не все же его знали и не все любили! Так было тихо, что только был слышен шорох сухой травы под ногами», шорох сухой травы под ногами...

Похороны совершили по-христианскому и воинскому обрядам.

Отец Василий немедленно донес на протоиерея Павла, что тот «проводил тело Лермонтова до могилы».

Почерневшего от горя Мартынова посадили на время в острог, а потом определили ему годы церковного покаяния.

* * *

Три офицера пятигорской комендатуры по приказанию военного коменданта города полковника Ильяшенкова произвели опись имущества убитого.

Оказалось, что поручик Лермонтов, забывший дорогу в храм и не помнивший ни одной православной молитвы, возил с собою целый походный «иконостасик»: «образ маленькой¹ Св. Архистратиха Михаила в Серебрянной вызолоченной рызе, образ не большой Св. Иоанна Воина. Таковой же побольше Св. Николая Чудотворца. Образ Маленькой. Крест маленькой Серебрянный, вызолоченный с мощами...»

Обнаружено «собственных сочинений покойного на разных ласкуточках бумаги кусков семь...» Делавшие опись в содержание не вникали: сколько сочинений, каких, о чем? — неизвестно; известно только, что на семи ласкуточках. Про Майошку можно было сказать «пишет как дышит». Он, действительно, хотел бы записать каждый

1 Приводим в правописании подлинника. Особенности даны курсивом. Заглавные буквы «оставлены без внимания».

свой вздох; всё, что происходило с ним и вокруг. Он писал пером в альбоме, карандашом на писчей бумаге, обгорелыми спичками на оберточной, углем на стенах своих гауптвахт, на побелке развеселого гусарского «Балагана»... Его записи нашлись даже на дне деревянных ящиков письменного стола. Клочки, испещренные его записями, дарились друзьям и случайным знакомым, разбрасывались повсюду, просто терялись безвозвратно, как потерялись несколько законченных кавказских тетрадей, отправленных в Петербург и канувших в горах вместе с ограбленными и убитыми почтальонами.

Денег проверявшие насчитали «две тысячи Шесть Сот десять рублей (2610) ...» Не всё Лермонтов проиграл в карты Пушкину-брату.

Из одежды описали: «Мундир поношенный. Эпалет мишурных пар три. Черкеска простого темного сукна. Шинель Светло серого Сукна с красным воротником Летняя на демикатоновой подкладке... Халат Бохарский кашемировый...»

Из домашней утвари: тарелки фаянсовые, ложки Серебрянные столовые и чайные, ситичко чайное Серебрянное, самовар желтой меди складной...

Из изящных мелочей: «Карманный гребешок складной роговой. Лорнетка с двумя стеклами золотая складная в перламутровых черенках...»

Из драгоценностей: «Перстень Англицкого Золота с берюзою. Кольцо червонного золота».

Из оружия: «Пистолет Черкеский в серебрянной обделке с золотою насечкою в чехле азиатском. Шашка в Серебрянной с подчерниєю оправе с портупеею на коей 12 пуговиц Серебрянных с подчерниєю... Кинжал...» Тот самый кинжал, что игрушкой блистал на стене, а когда-то был оружием поэта-пророка, чей стих носился, как Божий дух, воскрешенный памятью павшего русского офицера — наследника шотландского барда Томаса Лермонта, вкусившего правды от яблока королевы эльфов.

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закат, —
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножен, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный;
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
 Воспламенял бойца для битвы;
 Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
 Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
 И отзыв мыслей благородных
 Звучал, как колокол на башне вечевой,
 Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык; —
 Нас тешат блески и обманы;
 Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
 Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
 Иль никогда на голос мщенья
 Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
 Покрытый ржавчиной презренья?

* * *

Откликов на гибель Михаила Юрьевича было много, и были они разные.

Получив известие о дуэли, в присутствии сестры — великой княгини Марии Павловны *Его Величество* выразило всего себя: «*Quelle vie telle mort*» («Какая жизнь, такая смерть»), на что *Мария Павловна*, вспыхнув, одернула брата: «Зачем Вы так?!».

Николай одумался, взял себя в руки, вышел в соседнюю залу к приближенным и, не называя имени, сообщил: «Господа, тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит».

Неизвестный мемуарист рассказывал, что в 1841 году, когда ему было 11 лет, он жил в доме, соседнем с домом бабушки Арсеньевой. Раз прибежал ее лакей, зовет на помощь. Мальчик поспешил вместе со взрослыми. Елизавета Алексеевна лежала на полу без памяти. Придя в себя, сказала, что Миша убит на дуэли.

Помещик Кикин, приятель Мартыновых, вспоминал: «... было рождение матери Мартыновой. Нашел ее в большом горе. Сын ее Николай застрелил мерзавца Лермонтова на дуэли. Как мне жаль бедной бабки его [Арсеньевой]. Всю жизнь ему посвятила и испила от него всю чашу горестей до дна. Жалко и Мартынова. Николай давно в отставке и жил там по-пустому. Теперь сидит в остроге. Лермонтов <...> был трус. Хотел и тут отделаться, как с Барантом прежде, сказал, что у него руки не поднимаются, выстрелил вверх, и тогда они с Барантом поцеловались и напились шампанским. Сделал то же и с Мартыновым, но этот несмотря на то убил его».

Генерал Ермолов, бывший командующий Отдельным Кавказским корпусом, косвенно причастный к сюжету поэмы «Мцыри», высказался по-военному резко: «Уже я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да вынувши часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься».

Мнение своего круга выразил сановник, пожелавший остаться неизвестным: «Между нами будь сказано (entre nous soit dit), я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят; в сущности, он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество карандашей или перьев и напишет несколько строк. Ну, разве это поэт... Да и сам он писанное бросал или отдавал другим, но этим не дорожили...»

Генерал-лейтенант Граббе, командующий Кавказской линией, высоко ценивший Лермонтова: «Несчастливая судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до смерти».

Арсеньев, дальний родственник, чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе: «Одаренный от природы блестящими способностями и редким умом, Лермонтов любил преимущественно проявлять свой ум, свою находчивость, в насмешках над окружающею его средою и колкими, часто очень меткими островами, оскорблял иногда людей, достойных полного внимания и уважения.

С таким характером, с такими наклонностями, с такой разнузданностью он вступил в жизнь и, понятно, тотчас же нашел себе множество врагов. <...>

Как поэт Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек он был мелочен и несносен».

Панаев, литературный критик, издатель: «Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе?»

Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: его мирозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина... <...> Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть не дюжинным человеком, да еще с злым сердцем? <...>

...большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелко плавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления, <...> это тупые мудрецы, важничающие своею дельностью и рассудочностью и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение (это очень понятно) казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей, равных себе по уму и по мысли вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого, он был весь глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре».

Васильчиков, князь, чиновник, секундонт Мартынова, может быть, с тем чтобы защитить майора, тоже по-своему

ставшего жертвой дуэли, сделал акцент на неотвратимости для Лермонтова такого исхода, кто бы ни встал по ту сторону барьера. В глазах многих так оно и выглядело. «Этот печальный исход был почти неизбежен при строптивом, беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести (*point d'honneur*), которое удерживало его от всякого шага к примирению».

Белинский, литературный критик, публицист по личному впечатлению вначале считал Лермонтова обыкновенным фатом, но изменил свое мнение, вчитавшись в его стихи и прозу, хоть и не удержался от прилипчивой привычки сравнивать: у кого шире шаг? «Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком, <...> но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей природы, исполинский взмах, демонский полет — *с небом гордая вражда* — все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. <...> ... это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие уста, <...> это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. <...> Львиная натура! Страшный и могучий дух! <...> Я только вчера кончил переписывать его “Демона” ...».

3

Отрицание Бога исходит из возмущения тем, что Бог попускает зло. Как может Добро попускать зло? Или как может Бог отдавать на откуп слабому человеку жизненно важный выбор между добром и злом, между Собою и демоном? Зачем предоставляет свободу воли тому, кто безволен и одинаково готов делать выбор в пользу добра и в пользу зла?

Сознание материалиста, не отягощенное проблемами этики, противится мысли о том, что подвижность духовного мира, его развитие возможны лишь при равнозначности и постоянном противоборстве двух враждующих начал — добра и зла. Добро не в силах существовать вне зла (тогда

по отношению к чему оно добро?). Зло не в силах существовать вне добра (тогда по отношению к чему оно зло?). Это как два противовеса на шесте в руках у канатоходца. Уберите зло, шест перекосятся, и канатоходец упадет с проволоки. Уберите добро, и случится тоже самое. Абсолютное добро принадлежит Царствию Небесному, а не земному, лишенному рая.

Для оправдания Бога, для снятия с Него «вины» в попустительстве злу немецкие мистики ввели миф о Небытии — хронологическом предшественнике Бытия. Небытие, или Ничто, было до Бытия, до Бога. Но Ничто уже содержало в себе три составляющих будущей этики Бытия: добро, зло и свободу. Бог получил их от Небытия и потому не ответственен за них. Он унаследовал их как данность, и мир был сотворен Им, исходя из этой данности. Но тогда, исходя из той же данности, был сотворен и человек как образ и подобие Божие. Помимо триединого наследия, человек получил в дар от Бога способность к творчеству — привилегию самого Господа. При этом под творчеством следует понимать не пошаговую эволюцию, не перебирание вариантов, не комбинирование известного, а спонтанное революционное создание никогда не бывшей прежде новизны. Гениален не поэт, транслирующий такую новизну, а Бог, осенивший поэта чуткостью гения, позволяющей улавливать волю Творца. Гений черпает энергию из Небытия, предшествовавшего Бытию, и наследует те же три первоосновы этики Небытия: добро, зло и свободу. Как и человек в его земном бытовании, гений в каждом акте творения волен придавать божественный или демонический смысл им воплощаемому дару. Гением руководят не запретительные законы мировой морали, не текущие заботы о том, как бы не огорчить дипломатический корпус или как бы не задеть религиозное чувство императрицы Александры Федоровны, а свободный выбор между добром и злом. Гением руководит не то, что властвует на земле, а то, что пребывает в вечном.

На воздушном океане,
 Без руля и без ветрил,
 Тихо плавают в тумане
 Хоры стройные светил;
 Среди полей необозримых
 В небе ходят без следа
 Облаков неуловимых
 Волокнистые стада.

Кажется, что эти строки существовали всегда; что они, уйдут в вечное так же, как пришли из вечного, когда земля не знала ни людей, ни греха; когда Демон — дух изгнания — еще не витал над нею и ничего о ней не слышал; когда

...в жилище света
 Блистал он, чистый херувим,
 Когда бегущая комета
 Улыбкой ласковой привета
 Любила поменяться с ним,
 Когда сквозь вечные туманы,
 Познания жадный, он следил
 Кочующие караваны
 В пространстве брошенных светил;
 Когда он верил и любил,
 Счастливый первенец творенья!

Так начинает Лермонтов свою «Восточную повесть»: до того, как сатана переманит к себе треть Ангельского Воинства, и чистый херувим, блиставший в лазури, превратившись в Демона, встанет под знамена сатаны и поднимет мятеж против Бога; до того, как воинство дьявола будет разбито, сброшено в ад, но бессмертный не сдастся, не смирится и обратит взор на землю — космическую пылинку, затерянную во вселенной, несомую по ней невесть откуда и куда; ту землю, на которой Господь сотворил человека и насадил для него рай.

Став бесплотным туманом, сатана проникнет в райский сад, превратится в змея и заставит человека нарушить запрет Небесного Отца. Познание! Вот за что расплатится Адам изгнанием из рая. Познание — удел Бога и Ангелов, но не человека. Познание лишило невинности человеческий разум, раскрыв ему тайну о грехе, спасении и свободе.

У монастырского послушника Мцыри две святыни — Родина и Свобода, а вовсе не Бог и Спасение. Монастырь для него — тюрьма, из которой он бежит, потому что по своей духовной сути он не послушник, не *мцыри*, а поэт — *поэти*. Будь он душою монах, монастырская келья стала бы для него приютом и утешением. Свобода монаху не нужна. *Бэри* ищет за монастырскими стенами защиты от мирского зла. Ему необходимо спасение, а не свобода, ибо он уповает на жизнь вечную, а не временную, земную, исполненную греха и страха. Он спасается от земного. А Мцыри-*поэти* не ищет спасения. Он жаждет свободы вне каких-либо стен: монастырских, казарменных, тюремных. Он принимает жизнь такой, какая она есть: свято-грешной, горько-сладкой, черно-белой. *Поэти* нужно не спасение, а пространство; не вера в бесконечность своего посмертного существования, нет, ему нужна способность одухотворять земное, поэтизировать свято-грешное, горько-сладкое, черно-белое, а Мцыри — пленник войны и веры лишен с детства земной свободы; она так и останется его мечтой — несбыточной, недостижимой.

Мцыри — это поэт в плену.

Демон — поэт, не знающий неволи. Он сам умеет прельстить и околдовать; заковать и поработить. Он вырвался из ада, и нет на свете такой темницы, которая могла бы его удержать. Он обратит в руины любую. Пространство Демона не земля, а вся вселенная, но и вселенная ему тесна и скучна, как темница. Он постоянно ищет новизны, он хотел бы найти другую вселенную, освободившись от этой, как будто можно уйти от себя, ведь причина его томления

не в малых для него размерах вселенной, не в пресыщенности ею, а в нем самом, в пресыщенности самим собою... Власть же над ничтожной землей — слишком жалкая награда его непомерному честолюбию. Сеять зло на земле не доставляет ему удовольствия, никак не насыщает его всемогущества, потому что зерна зла падают на чересчур благодатную почву — готовность человека творить зло. А то, чему никто не противится, способно лишь наскучить. И Демону безотрадны долины роскошной Грузии; и Казбек, сияющий снегами, как грань алмаза; и Дарьял, змеёю вьющийся по трещине в излучине ущелья; и

Чинар развесистые сени,
 Густым венчанные плющом.
 Пещеры, где палящим днем
 Таятся робкие олени;
 И блеск, и жизнь, и шум листов,
 Стозвучный говор голосов,
 Дыханье тысячи растений!
 И полдня сладострастный зной,
 И ароматною росой
 Всегда увлажненные ночи,
 И звезды, яркие, как очи,
 Как взор грузинки молодой!..

Мцыри, не знающий свободы и стремящийся к ней, осужден на смерть.

Демон, постигший свободу и тяготящийся ею, осужден на жизнь.

Да, бытие ему наскучило, а мы не можем налюбоваться и послушаться той немилосердной «скукой», потому что делится ею с нами поэт, воспевающий красоту Божьего мира.

И Демон видит Тамару...

...На мгновенье
 Незъяснимое волнение
 В себе почувствовал он вдруг.
 Немой души его пустыню
 Наполнил благодатный звук —
 И вновь постигнул он святыню
 Любви, добра и красоты!..
 И долго сладостной картиной
 Он любовался — и мечты
 О прежнем счастье цепью длинной,
 Как будто за звездой звезда,
 Пред ним катилися тогда.
 Прикованный незримой силой,
 Он с новой грустью стал знаком;
 В нем чувство вдруг заговорило
 Родным когда-то языком.
 То был ли признак возрождения?..

Нет! На пути Демона встал соперник — жених Тамары, грузинский князь, ведущий за собой богатый караван на свадьбу к невесте. И лукавый *демон* воображения соблазнил его мечтой о Тамаре, и князь позабыл осторожность...

Абреки нападают на караван. Сцена перестрелки у часовни — образец выразительности и лаконизма.

Он [князь] в мыслях, под ночную тьмою,
 Уста невесты целовал.
 Вдруг впереди мелькнули двое,
 И больше — выстрел! — что такое?..
 Привстав на звонких стременах,
 Надвинув на брови папах¹,
 Отважный князь не молвил слова;
 В руке сверкнул турецкий ствол,

1 Шапка вроде ериванки. — Прим. Лермонтова.

Нагайка щелк — и, как орел,
 Он кинулся... и выстрел снова!
 И дикий крик и стон глухой
 Промчались в глубине долины —
 Недолго продолжался бой: —
 Бежали робкие грузины!

Но кто тот *лукавый демон*, что отвлек внимание князя и подставил его под пулю абрека? Всё тот же дух изгнанья, поэт, который *пишет* «Восточную повесть», а мог бы ее и *делать*...

Покончив с неосмотрительным соперником, Демон является Тамаре во всей обольстительности ниспосланных ему даров.

Пришлец туманный и немой,
 Красой блистая неземной,
 К ее склонился изголовью;
 И взор его с такой любовью,
 Так грустно на нее смотрел,
 Как будто он об ней жалел.
 То не был ангел-небожитель.
 Ее божественный хранитель:
 Венец из радужных лучей
 Не украшал его кудрей.
 То не был ада дух ужасный,
 Порочный мученик — о нет!
 Он был похож на вечер ясный:
 Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!

Хотя преступление (убийство князя) уже совершено, Лермонтов не хочет называть своего Демона духом ада. Он — вечер. Он зыблется между светом и тьмой. Он сумеречен. Его время «ни мрак, ни свет», но сумерки. Он остается поэтом в дантовом смысле — тем, кто, не вырвись он из плена, мог бы оказаться в первом круге ада, круге вечных сумерек, там,

где Данте поселил жадных до познания мудрецов и поэтов, повинных в грехе нарушенного запрета. Но Демон оказался на свободе и продолжает творить зло. Это позволило одной из внимательных читательниц поэмы — великой княгине Марии Павловне высказаться о демонической природе лермонтовской лиры вообще: «В сочинениях Лермонтова не находишь ничего, кроме стремления и потребности вести трудную игру за властвование, одерживая победу посредством своего рода душевного индифферентизма, который делает невозможной какую-либо привязанность, а в области чувства часто приводит к вероломству. Это — заимствование, сделанное у Мефистофеля Гёте, но с тою большой разницей, что в “Фаусте” диавол вводится в игру лишь затем, чтобы помочь самому Фаусту пройти различные фазы своих желаний, и остается второстепенным персонажем, несмотря на отведенную ему большую роль. Лермонтовский же герой, напротив, является главным действующим лицом, и поскольку средства, употребляемые им, являются его собственными и от него же и исходят, то их нельзя одобрить». Вероломство Демона по отношению к жениху и Тамаре, так же очевидно, как вероломство Лермонтова по отношению к Лопухину и Катрин, и все же Демон далеко не «заимствование, сделанное у Мефистофеля Гёте». Лермонтовский герой, как демоночеловек, отличен именно своим человеческим началом, которое время от времени доминирует в нем, чтобы уступить началу демоническому.

Двоящийся Демон...

Демон — Богоотступник и Богоборец, презирающий людское племя, и он же — поэт, певец Творения, *поэти* такой неотразимой силы, которая делает его лирическое служение равным молитвенному служению святого *бэри* и приближает его к Богу не со стороны церковного благочестия, а со стороны искусства.

Декабрь 2021 — январь 2022.
Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I	
Вспоможение	5
ГЛАВА II	
Маленький гусар	11
ГЛАВА III	
Монго	32
ГЛАВА IV	
Зимняя гроза	60
ГЛАВА V	
На водах	92
ГЛАВА VI	
Мцыри	104
ГЛАВА VII	
«Мне грустно, потому что я тебя люблю...» . . .	116
ГЛАВА VIII	
Кавказская война	139
ГЛАВА IX	
Валерик	151
ГЛАВА X	
Демон	175

Художественное издание

Алексей Евгеньевич Смирнов

МАЙОШКА

Роман

Издатель *Леонид Янович*
Корректор *Ольга Крупченко*
Художник *Владимир Хананов*
Верстка и оригинал-макет *Михаил Щербов*

Налоговая льгота –
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»
Контактный телефон: +7 (916) 651-30-94
по вопросам реализации: +7 (903) 669-69-09
E-mail: nkhronograf@mail.ru

Информация об издательстве в Интернете: <http://www.novhron.info>

Подписано к печати: 25.04.2022
Формат 60 × 84 / 16, Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 13 печ. л.
Тираж 100 экз
Отпечатано в АО
«Т8 Издательские технологии»

ISBN 978-5-94881-526-8



МОСКВА  **новый хронограф** 2022